

К. М. СТАНЮКОВИЧ

ВОКРУГ СВЕТА
НА
«КОРШУНЕ»



8

Константин Станюкович
Вокруг света на «Коршуне»

«Public Domain»

1895

Станюкович К. М.

Вокруг света на «Коршуне» / К. М. Станюкович — «Public Domain», 1895

Из Кронштадта выходит в дальний вояж, в кругосветное плавание, корвет «Коршун». На его пути моря – Балтийское, Северное, Китайские, Японские и другие; океаны – Атлантический, Индийский, Тихий; крупные западноевропейские города, далее Мадейра, острова Зеленого мыса, Батавия, Гонконг, Сан-Франциско, Гонолулу. Так среди морей и океанов, совершает свое плавание корвет «Коршун», как бы маленькая живая клетка России. На корабле – небольшой отряд моряков, несущих в дальние заморские края весть о России. Не как враг, а как друг пристает к чужим берегам этот корабль, о плавании которого рассказал в своей повести «Вокруг света на “Коршуне”» Константин Михайлович Станюкович (1843—1903), выдающийся русский писатель-патриот.

Содержание

Часть первая	6
Глава первая.	6
I	6
II	8
III	10
IV	16
Глава вторая.	19
I	19
II	20
III	25
Глава третья.	28
I	28
II	32
III	34
IV	36
Глава четвертая.	45
I	45
II	46
III	47
IV	50
V	51
Глава пятая.	54
I	54
II	55
III	57
IV	59
V	60
Глава шестая.	64
I	64
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Константин Станюкович **Вокруг света на «Коршуне»**

Сцены из морской жизни

Повесть

Часть первая

Глава первая. Неожиданное назначение

I

В один сумрачный ненастный день, в начале октября 186* года, в гардемаринскую роту морского кадетского корпуса неожиданно вошел директор, старый, необыкновенно простой и добродушный адмирал, которого кадеты нисколько не боялись, хотя он и любил иногда прикинуться строгим и сердито хмурил густые, нависшие и седые свои брови, журуя какого-нибудь отчаянного шалуна. Но добрый взгляд маленьких выцветших глаз выдавал старика, и он никого не пугал.

Семеня разбитыми ногами, директор, в сопровождении поспешившего его встретить дежурного офицера, прошел в залу старшего, выпускного класса и, поздоровавшись с воспитанниками, ставшими во фронт, подошел к одному коротко остриженному белокурому юнцу с свежим отливавшим здоровым румянцем, жизнерадостным лицом, на котором, словно угольки, сверкали бойкие и живые карие глаза, и приветливо проговорил:

– Тебя-то мне и нужно, Ашанин.

– Что прикажете, ваше превосходительство?

– Ничего не прикажу, братец, а поздравлю. Очень рад за тебя, очень рад...

Молодой человек недоумевал: с чем поздравляет его директор и чему радуется?

Директор шутливо погрозил длинным костлявым пальцем.

– Да ты что прикидываешься, хитрец, будто ничего не знаешь, а? Я вот сейчас получил бумагу. По приказанию высшего морского начальства, ты назначен на корвет «Коршун» в кругосветное плавание на три года. Через две недели корвет уходит. Ну, что, доволен? Кто это за тебя хлопотал, что тебя назначили раньше окончания курса? Редкий пример...

Юноша был более изумлен, чем обрадован, и в первую минуту решительно не мог сообразить, кто это ему устроил такой сюрприз. Сам он и не думал о кругосветном плавании. Напротив, он мечтал после выпуска из корпуса поступить в университет и бросить морскую службу, не особенно манившую его. Два летних плавания в Финском заливе, которые он сделал, казались ему неинтересными и не приохотили к морю. О своих планах он недавно говорил с матерью, и она, добрая, славная, обожавшая своего сына, не препятствовала. Хотя покойный отец и был моряком, но пусть Володя поступает, как хочет...

И вдруг – здравствуйте! – все мечты его разбиты, вся жизнь изменена. Он должен идти в кругосветное плавание.

Юное самолюбие не позволило сознаться, что его посылают помимо его желания, и потому Ашанин, оправившись после первой минуты изумления, поспешил ответить директору, что он «доволен, очень доволен», но что не знает, кто за него хлопотал.

– Верно, дядя твой, почтеннейший Яков Иванович! – промолвил директор.

«Господи! Как это он не догадался в первую же минуту!» – мелькнуло в голове молодого человека.

Разумеется, это дядюшка-адмирал, этот старый чудак и завзятый морской волк, отчаянный деспот и крикун и в то же время безграничный добряк, живший одиноким холостяком вместе с таким же, как он, стариком Лаврентьевым, отставным матросом, в трех маленьких

комнатках на Васильевском острове, сиявших тем блеском и той безукоризненной чистотой, какие бывают только на военном корабле, – разумеется, это он удружил племяннику... Недаром он непременно хотел сделать из него моряка.

«Ах, дядюшка!» – мысленно произнес Ашанин далеко не ласково.

– Вероятно, дядюшка, ваше превосходительство! – отвечал юноша директору.

– Ну, братец, через три дня ты должен быть в Кронштадте и явиться на корвет! – продолжал директор. – А теперь иди скорее домой, проведи эти дни с матушкой. Ведь на три года расстанетесь... Верно, командир корвета тебя еще отпустит... А мы тебя, молодца, снарядим. Тебе дадут все, что следует, – и платья и белья казенного, целый сундук увезешь... А как произведут в гардемарины¹, сам обмундируешься... Ну, пока до свидания. Смотри, зайди проститься со своим директором... Ты хоть и большой был «школа», и мы с тобой, случилось, ссорились, а все-таки, надеюсь, ты не вспомнишь старика лихом! – прибавил с чувством директор, улыбаясь своей ласковой улыбкой.

С этими словами он ушел.

Многие товарищи поздравляли Ашанина и называли счастливецом. На целые шесть месяцев раньше их он вырывался на свободу. Где только не побывает? Каких стран не увидит! И, главное, не будет его более зудить «лукавый царедворец», как называли кадеты своего ротного командира, обращавшего особенное и едва ли не преимущественное внимание на внешнюю выправку и хорошие манеры будущих моряков. Отличавшийся необыкновенной любезностью обращения – хотя далеко не мягкий человек – и вкрадчивостью, он за это давно уже получил почему-то прозвище «лукавого царедворца» и не пользовался расположением кадет.

Через четверть часа наш «счастливец поневоле», переодевшись в парадную форму, уже летел во весь дух в подбитой ветром шинельке и с неуклюжим кивером на голове на Английский проспект, где в небольшой уютной квартирке третьего этажа жили самые дорогие для него на свете существа: мать, старшая сестра Маруся, брат Костя, четырнадцатилетний гимназист, и ветхая старушка – няня Матрена с большим носом и крупной бородавкой на морщинистой и старчески румяной щеке.

Ах, сколько раз потом в плавании, особенно в непогоды и штормы, когда корвет, словно щепку, бросало на расшвирупевшем седом океане, палуба убегала из-под ног, и грозные валы перекатывались через бак², готовые смыть неосторожного моряка, вспоминал молодой человек с какой-то особенной жгучей тоской всех своих близких, которые были так далеко-далеко. Как часто в такие минуты он мысленно переносился в эту теплую, освещенную мягким светом висячей лампы, уютную, хорошо знакомую ему столовую с большими старинными часами на стене, с несколькими гравюрами и старым дубовым буфетом, где все в сборе за круглым столом, на котором поет свою песенку большой пузатый самовар, и, верно, вспоминают своего родного странника по морям. И все спокойно сидят на неподвижных стульях, а если и встанут, то пойдут по-человечески, по ровному, неподвижному полу, не боясь растянуться со всех ног и не выделявая ногами разных гимнастических движений для сохранения равновесия. Комната не кружится, ничто в ней не качается и ничто в ней не «принайтовлено»³. Окна большие, а не маленький, наглухо задраенный (закрытый) иллюминатор⁴, обмываемый пенистой волной. Как хорошо в этой столовой и как неудержимо хотелось в такие минуты «трепки» очутиться там!

¹ В те времена по окончании курса выпускали не прямо в мичманы, а на два года в гардемарины. Жалованье было то же, что мичману.

² Бак – передняя часть судна.

³ Принайтовить – привязать.

⁴ Иллюминатор – небольшое окно в каюте из очень толстого стекла.

II

Когда Володя пришел домой, все домашние были в гостиной.

Мать его, высокая и полная женщина, почти старушка, с нежным и кротким лицом, сохранившим еще следы былой красоты, в сбившемся, по обыкновению, чуть-чуть набок черном кружевном чепце, прикрывавшем темные, начинавшие серебриться волосы, как-то особенно горячо и порывисто обняла сына после того, как он поцеловал эту милую белую руку с красивыми длинными пальцами, на одном из которых блестели два обручальных кольца. Она, видимо, была расстроена, и ее большие бархатистые черные глаза были красны от слез. Хорошенькая Маруся, брюнетка лет двадцати, с роскошными косами, обыкновенно веселая и светлая, как вешнее утро, была сегодня грустна и задумчива. Костя, долговязый и неуклюжий подросток в гимназической куртке, с торчащими вихрами, глядел на брата с каким-то боязливым почтением и в то же время с грустью. А старая няня Матрена, уже успевшая обнять и пожалеть своего любимца в прихожей, стояла у дверей простоволосая, понурая и печальная, с любовно устремленными на Володю маленькими слезящимися глазками.

Одно только лицо в гостиной совсем не имело скорбного вида – напротив, скорее веселый и довольный.

Это был дядюшка-адмирал, старший брат покойного Ашанина, верный друг и пестун, и главная поддержка семьи брата – маленький, низенький, совсем сухонький старичок с гладко выбритым морщинистым лицом, коротко остриженными усами щетинкой и небольшими, необыкновенно еще живыми и пронзительными глазами, глубоко сидящими в своих впадинах. Его остроконечная голова, схожая с грушей, казалась еще острее от старинной прически, которую он носил в виде возвышавшегося, словно петуший гребешок, кока над большим открытым лбом. Он был в стареньком, потертом, но замечательно опрятном сюртуке, застегнутом, по тогдашней форме, на все пуговицы, – с двумя черными двуглавыми орлами⁵, вышитыми на золотых погонах. Большой крест Георгия третьей степени, полученный за Севастополь, белел на шее, другой – Георгий четвертой степени, маленький, за восемнадцать морских кампаний – в петлице.

Заложив обе руки назад и несколько горбя, по привычке моряков, спину, он ходил взад и вперед по гостиной легкой и быстрой походкой, удивительной в этом 65-летнем старике. Во всей его сухой и подвижной фигуре чувствовались живучесть, энергия и нетерпеливость сангвинической натуры. Он по временам бросал быстрые взгляды на присутствующих и, казалось, не обращал особенного внимания на их подавленный вид.

– Вы, конечно, уже знаете, мамаша, о моем назначении?.. Я просто изумлен! – взволнованно проговорил Володя.

– Сейчас Яков Иванович мне сказал. И так это неожиданно... И так скоро уходит корвет! – грустно проговорила мать, и слезы брызнули из глаз.

Володя направился поздороваться с дядей, который дарил всегда особенным ласковым вниманием своего любимца и крестника.

Маленький адмирал круто остановился, стиснул руку племянника и, притянув его к себе, поцеловал.

– Это вы, дядя, устроили мне такой сюрприз?

– А то кто же? Конечно, я! – весело отвечал старик, видимо любясь своим племянником, очень походившим на покойного любимого брата адмирала. – Третьего дня встретился с управляющим морским министерством, узнал, что «Коршун» идет в дальний вояж⁶, и попро-

⁵ Два орла означают второй адмиральский чин – чин вице-адмирала.

⁶ Моряки старого времени называли кругосветное путешествие дальним вояжем.

сил... Хоть и не люблю я за родных просить, а за тебя попросил... Да... Спасибо министру, уважил просьбу. И ты, конечно, рад, Володя?

– Признаться, совсем даже не рад, дядя.

– Что?! Как? Да ты в своем ли уме?! – почти крикнул адмирал, отступая от Володи и взглядывая на него своими внезапно загоревшимися глазками, как на человека, действительно лишившегося рассудка. – Тебе выпало редкое счастье поплавать смолоду в океанах, сделаться дельным и бравым офицером и повидать свет, а ты не рад... Дядя за него хлопотал, а он... Не ожидал я этого, Володя... Не ожидал... Что же ты хочешь сухопутным моряком быть, что ли?... У маменьки под юбкой все сидеть? – презрительно кидал он.

– Да вы не сердитесь, дядя... Позвольте сказать...

– Что еще говорить больше?... Уж ты довольно разоделжил. Срам! Покорно благодарю!..

С этими словами адмирал низко поклонился и даже шаркнул своей маленькой ножкой и тотчас продолжал:

– А я-то, старый дурак, думал, что у моего племянника в голове кое-что есть, что он, как следует, молодчина, на своего отца будет похож, а он... скажите, пожалуйста!.. «Совсем даже не рад!»... Чему ж вы были бы рады-с? Что же вы молчите-с?... Извольте объяснить-с, почему вы не рады-с? – горячился и кричал старик, переходя на «вы» и уснащая свою речь частицами «с», что было признаком его неудовольствия.

– Да вы не даете мне слова сказать, дядя.

– Я слушаю... извольте говорить-с.

– Я, видите ли, дядя... Я, собственно говоря...

И Володя, несколько смущенный при мысли, что то, что он скажет, совсем огорошит дядю и, пожалуй, огорчит еще более, невольно замялся.

– Ну, что же... Я пока ничего не вижу... Не мямли! – нетерпеливо сказал маленький адмирал.

– Я имел намерение после выхода из корпуса поступить в университет и...

– Потом сделаться чиновником... строчить бумаги?... Чернильной душой быть, а? – перебил дядя-адмирал, казалось, вовсе не огорошенный словами племянника и даже не всплывший еще сильнее при этом известии, а только принявший иронический тон. – То-то сейчас Мария Петровна говорила... Володя не любит моря, Володя хочет в университет, а потом строкулистом... Ай да карьера! Или, может быть, министром собираешься быть?... Каким ведомством полагаете управлять, ваше превосходительство? – насмешливо обратился старик к Володе.

И, снова меняя тон, адмирал продолжал:

– Вздор... Глупости... Блажь! Я не хочу и слышать, чтобы ты был чиновником... и не слыхал, ничего не слыхал... Ты будешь моряком. И твой покойный отец этого хотел, и я этого желаю... слышишь? Ты полюбишь море и полюбишь морскую службу... она благородная, хорошая служба, а моряки прямой честный народ... Этих разных там береговых «финтифантов» да дипломатических тонкостей не знают... С морем нельзя, брат, криводушничать... К нему не подольстишься... Это все на берегу учатся этим пакостям, а в океане надо иметь смелую душу и чистую совесть... Тогда и смерть не страшна... Какой ты строкулист? Ты и теперь настоящий моряк, а вернешься таким лихим мичманом, что чудо... И чего только не увидишь?... Ну, довольно об этом... Через две недели мы тебя все проводим... не так ли?

– Как же иначе, дядя? – отвечал Володя, задетый за живое словами дяди и уже соблазненный кругосветным плаванием.

– И ты не будешь трусить?... Бабой не станешь? Не осрамишь дядю?

– Надеюсь, ни себя, ни вас, – отвечал, весь вспыхивая, юноша.

– Ишь загорелся!.. Ишь стали отцовские глаза! Эх ты, славный и смелый мальчик! – дрогнувшим голосом проговорил адмирал и, сразу смягчившийся и повеселевший, быстрым

движением руки привлек к себе Володю, горячо обнял его и так же быстро оттолкнул, словно бы стыдясь при всех обнаруживать ласку.

Вслед за тем старик подошел к Марии Петровне и проговорил с глубокой нежностью:

– А вы, родная, не предавайтесь горю... И ты, дикая козочка, что носик опустила? – кинул он Марусе. – Три года пролетят незаметно, и наш молодец вернется... А в это время он нам длинные письма посылать будет... Не правда ли, Володя?

– Еще бы!

– А мы сперва прочтем каждый в одиночку, а потом вечером за чаем вместе... Вы думаете, и мне, старику, не жаль расставаться с ним? – прибавил он, понижая голос, – еще как жаль-то! Но я утешаю себя тем, что моряку плавать надо, и ему, нашему остроглазому, это на пользу.

– Я... что ж... Я постараюсь не горевать... Только ему было бы, голубчику, хорошо... Очень уж скоро расставаться... Надеюсь, эти-то две недели он с нами пробудет? – спрашивала мать.

Адмирал успокоил ее. Наверное, командир отпустит Володю до ухода. Что ему делать на корвете? мешать разве?.. Там теперь спешат... порют горячку...

– То-то... Надо успеть кое-что приготовить ему... Произведут его ведь там, далеко где-нибудь... а казенные вещи...

– Уж это позвольте мне взять на себя, Мария Петровна, – деликатно остановил ее адмирал. – Это наше мужское дело... Не беспокойтесь... Все выпускное приданое сделаем... ничего не забудем... и теплое пальто сошьем... казенные пальтишки легонькие, а ночи-то в море на севере холодные, а вахты длинные. И штатское платье закажем... Ну, и деньжонками снабдим молодца... До производства жалованья ему не полагается, одни порционные, так не мешает иметь свои, чтоб повидать города, да в Лондон или Париж съездить. Это полезно для молодого человека...

– Экий вы, Яков Иванович... заботливый! – благодарно промолвила мать.

– О ком же и заботиться, как не о своих! Не о себе же! – усмехнулся он. – А ты, Володя, завтра-то пораньше ко мне забеги... Вместе просмотрим реестрик, какой я составил... Может, что и пропустил, так ты скажешь... Кстати, и часы золотые возьмешь... я их приготовил к производству, а приходится раньше отдавать...

– Благодарю вас, дядя.

– Ну, ну! – сердито замахал старик рукой. – Не благодари. Ты знаешь, я этого не люблю!

III

Через три дня Володя, совсем уже примирившийся с назначением и даже довольный предстоящим плаванием, с первым утренним пароходом отправился в Кронштадт, чтоб явиться на корвет и узнать, когда надо окончательно перебраться и начать службу. Вместе с тем ему, признаться, хотелось поскорее познакомиться с командиром и старшим офицером – этими двумя главными своими начальниками – и увидеть корвет, на котором предстояло прожить три года, и свое будущее помещение на нем.

Еще не совсем готовый к выходу в море, «Коршун» стоял не на рейде, а в военной гавани, ошвартовленный⁷, у стенки, у «Купеческих ворот», соединяющих гавань с малым кронштадтским рейдом.

Володя, еще на пароходу узнавший, где стоит «Коршун», поехал к гавани и по стенке дошел скоро к корвету.

⁷ Ошвартоваться – привязаться к берегу или другому судну швартовами – толстыми веревками.

Это было небольшое, стройное и изящное судно 240 футов длины и 35 футов ширины в своей середине, с машиной в 450 сил, с красивыми линиями круглой, подбористой кормы и острого водореза и с тремя высокими, чуть-чуть наклоненными назад мачтами, из которых две передние – фок– и грот-мачты – были с реями⁸ и могли носить громадную парусность, а задняя – бизань-мачта – была, как выражаются моряки, «голая», то есть без рей, и на ней могли ставить только косые паруса. Десять орудий, по пяти на каждом борту, большое бомбическое орудие на носу и две медные пушки на корме представляли боевую силу корвета.

На нем уходила в кругосветное плавание горсточка моряков, составлявших его экипаж: капитан, его помощник – старший офицер, двенадцать офицеров, восемь гардемарин и штурманских кондукторов, врач, священник, кадет Володя и 130 нижних чинов – всего 155 человек.

На корвете заканчивали последние работы и приемку разных принадлежностей снабжения, и палуба его далеко не была в том блестящем порядке и в той идеальной чистоте, которыми обыкновенно шеголяют военные суда на рейдах и в плавании.

Совсем напротив!

Загроможденная, с валявшимися щепой и стружками, с не прибранными как следует снастями, с брошенными где попало инструментами и бушлатами портовых мастеровых – плотников, слесарей, конопатчиков и маляров, она имела вид хаотического беспорядка, обычного при спешном снаряжении судна.

Везде – и наверху и внизу – кипела работа. Повсюду раздавался стук топоров и молотков, визг пил и рубанков, лязг и грохот. По временам, при подъеме тяжестей, затягивалась «дубинушка». Рабочие из порта в своих грязных парусиновых голландках доделывали и исправляли, переделывали, строгаля, рубили и пилили. Тут конопатили палубу, заливая пазы горячей смолой, и исправляли плохо пригнанный люк, там, внизу, ломали каютную переборку, красили борты, притачивали что-нибудь к машине.

Корветские матросы в синих засмоленных рубахах таскали разные вещи и спускали их в люки, сплескивали⁹ веревки, поднимали на таях¹⁰ (толстых веревках) тяжести, а марсовые, рассыпавшись по марсам¹¹ или сидя верхом на реях, прилаживали снасти и блочки, мурлыкая по обыкновению какую-нибудь песенку. Смолили ванты¹², разбирали бухты¹³ веревок, а двое маляров, подвешенные на беседках¹⁴, красили толстую горластую дымовую трубу. Везде приятно пахло смолой.

Среди всех этих рабочих голландок и матросских рубах мелькали озабоченные и возбужденные лица нескольких офицеров в коротких бушлатах (пальто). Они появлялись то тут, то там и поторапливали.

Еще бы! Надо поскорее кончать и уходить. И то октябрь на дворе!

Володя стоял минут пять, в стороне от широкой сходни, чтобы не мешать матросам, то и дело проносящим тяжелые вещи, и посматривал на кипучую работу, любовался рангоутом и все более и более становился доволен, что идет в море, и уж мечтал о том, как он сам будет капитаном такого же красавца-корвета.

Никто не обращал на него никакого внимания.

⁸ *Рей* – большие поперечные деревья, к которым привязываются паруса.

⁹ *Сплескивать* – соединять веревки, пропуская пряди одной в пряди другой.

¹⁰ Тали состоят из неподвижного и подвижного двухшкивных блоков, через которые пропущен трос (веревка). Тали служат для подъема тяжестей и натягивания снастей. – *Ред.*

¹¹ *Марс* – площадка, с которой матросы идут по реям и поднимаются выше на брам-рей по вантам.

¹² *Ванты* – веревочная лестница, идущая от бортов к марсам и от марсов выше, до верхушки мачты.

¹³ *Бухта* – длинный конец веревки, сложенной в несколько рядов.

¹⁴ *Беседка* – маленькая скамеечка вроде тех, на которых красят стены городских домов.

Только один пожилой рябоватый матрос с медной сережкой в ухе, проходя мимо Володи, приостановился и, слегка приподнимая фуражку своей жилистой, просмоленной рукой, проговорил мягким, приятным баском:

– Любопытно, барин, посмотреть, как матросики стараются? Небось, скоро справим «конверт»¹⁵. Мы ведь в дальнюю¹⁶... Я, барин, во второй раз иду...

– И я на корвете иду! – поспешил сказать Володя, сразу почувствовавший симпатию к этому низенькому и коренастому, черноволосому матросу с серьгой. Было что-то располагающее и в веселом и добродушном взгляде его небольших глаз, и в интонации его голоса, и в выражении его некрасивого рябого красно-бурого лица.

– Вместе, значит, служить будем, баринок. А пока – счастливо оставаться!

– Что, капитан на корвете? – остановил матроса Володя.

– А то как же?! Он цельный день на «конверте»... Старается.

– А тебя, брат, как звать?

– Михайлой Бастрюковым люди зовут, барин! – отвечал, улыбаясь широкой ласковой улыбкой, матрос и вприпрыжку побежал на сходню.

Оттуда он еще раз оглянулся на Володю и все с тем же ласковым и веселым выражением.

Володя двинулся на сходню и вошел на корвет, разыскивая глазами вахтенного¹⁷ офицера.

На мостике¹⁸ его не было.

Наконец, заметив молодого лейтенанта¹⁹, показавшегося из-за грот-мачты, он подошел к нему и, вытягиваясь во фронт и отдавая по форме честь, спросил:

– Можно ли видеть капитана?

– Отпустите руку, пожалуйста, и стойте вольно. Я не корпусная крыса! – проговорил смеясь лейтенант и в ответ не приложил руки к козырьку, а, по обычаю моряков, снял фуражку и раскланялся. – Капитан только что был наверху. Он, верно, у себя в каюте! Идите туда! – любезно сказал моряк.

Володя поблагодарил и, осторожно ступая между работающими людьми, с некоторым волнением спускался по широкому, обитому клеенкой трапу²⁰, занятый мыслями о том, каков капитан – сердитый или добрый. В это лето, во время плавания на корабле «Ростислав», он служил со «свирепым» капитаном и часто видел те ужасные сцены телесных наказаний, которые произвели неизгладимое впечатление на возмущенную молодую душу и были едва ли не главной причиной явившегося нерасположения к морской службе.

Каков-то этот?

У входа в капитанскую каюту он увидел вестового, который в растворенной маленькой буфетной развешивал по гнездам рюмки и стаканы разных сортов.

– Послушай, братец...

– Есть! – почти выкрикнул молодой чернявый матрос, оборачиваясь и глядя вопросительно на Володю.

– Доложи капитану, что я прошу позволения его видеть.

– У нас, господин...

¹⁵ Матросы всегда коверкают это слово и вместо корвет говорят «конверт».

¹⁶ *Дальняя* – кругосветное и вообще далекое плавание.

¹⁷ *Вахтенный офицер* – дежурный, отвечающий за все во время своей вахты. Он называется еще вахтенным начальником. Вахтенные офицеры чередуются между собой и стоят на вахте в море по четыре часа; их бывает 4 и 5.

¹⁸ *Мостик* – возвышенная площадка, помещающаяся впереди бизань-мачты, откуда удобно наблюдать за всем. Это обыкновенное место во время вахты вахтенного офицера. На мостике стоит главный компас, или пелькомпас.

¹⁹ *Лейтенант* – второй офицерский чин у моряков.

²⁰ *Трап* – лестница.

Чернявый вестовой запнулся, видимо затрудняясь, как величать кадета. Он не «ваше благородие» – это было очевидно, однако из господ.

– У нас, барин, – продолжал он, разрешив этим названием свое минутное сомнение, – без доклада. Прямо идите к ему...

– А все-таки...

– Да вы не сумлевайтесь... Он простой... Он всякого примаёт...

Володя невольно улыбнулся и вошел в большую, светлую капитанскую каюту, освещенную большим люком сверху, роскошно отделанную щитками из нежно-палевой карельской березы.

Клеенка во весь пол, большой диван и перед ним круглый стол, несколько кресел и стульев, ящик, где хранятся карты, ящики с хронометрами и денежный железный сундук – таково было убранство большой каюты. Все было прочно, солидно и устойчиво и могло выдерживать качку.

По обе стороны переборок²¹ были двери, которые вели в маленькие каюты – кабинет, спальню и ванную. Дверь против входа вела в офицерскую кают-компанию.

В большой каюте капитана не было. Володя постоял несколько мгновений и кашлянул.

В ту же минуту сбоку вышел среднего роста, сухощавый господин лет тридцати пяти, в коротком пальто с капитан-лейтенантскими погонами, с бледноватым лицом, окаймленным небольшими бакенбардами, с зачесанными вперед, как тогда носили, висками темно-русых волос и с шелковистыми усами, прикрывавшими крупные губы. Из-под воротника пальто белели стоячие воротнички рубашки.

– Честь имею явиться...

– Ашанин? – спросил капитан низковатым, с приятной хрипотой голосом и, протянув свою широкую мягкую руку, крепко пожал руку Володи; в его серьезном, в первое мгновение казавшемся холодном лице засветилось что-то доброе и ласковое.

– Точно так, Владимир Ашанин! – громко, сердечно и почему-то весело отвечал Володя и сразу почувствовал себя как-то просто и легко, не чувствуя никакого страха и волнения, как только встретил этот спокойно-серьезный, вдумчивый и в то же время необыкновенно мягкий, проникновенный взгляд больших серых глаз капитана.

И этот взгляд, и голос, тихий и приветливый, и улыбка, и какая-то чарующая простота и скромность, которыми, казалось, дышала вся его фигура, – все это, столь не похожее на то, что юноша видел в двух командирах, с которыми плывал два лета, произвело на него обаятельное впечатление, и он восторженно решил, что капитан «прелесть».

– Очень рад познакомиться и служить вместе... Явитесь к старшему офицеру. Он вам укажет ваше будущее помещение.

– Когда прикажете перебираться?..

– Можете пробыть дней десять дома. У вас есть в Петербурге родные?

– Как же: мама, сестра, брат и дядя! – перечислил Володя.

– Ну вот, видите ли, вам, разумеется, приятно будет провести с ними эти дни, а здесь вам пока нечего делать... Я рассчитываю уйти двадцатого... К вечеру девятнадцатого будьте на корвете.

– Слушаю-с!..

– Так до свидания...

Володя ушел от капитана, почти влюбленный в него, – эту влюбленность он сохранил потом навсегда – и пошел разыскивать старшего офицера. Но найти его было не так-то легко. Долго ходил он по корвету, пока, наконец, не увидел на кубрике²² маленького, широкоплечего

²¹ Переборка – деревянная стена каюты.

²² Кубрик – матросское помещение в палубе, передней части судна.

и плотного брюнета с несоразмерно большим туловищем на маленьких ногах, напоминавшего Володе фигурку Черномора в «Руслане», с заросшим волосами лицом и длинными усами.

Хлопотавший и носившийся по корвету с четырех часов утра, несколько ошалевший от бесчисленных забот по должности старшего офицера – этого главного наблюдателя судна и, так сказать, его «хозяйского глаза» – он, видимо чем-то недовольный, отдавал приказания подшкиперу²³ и боцману²⁴ своим крикливым раздраженным тенорком, сильно при этом жестикулируя волосистой рукой с золотым перстнем на указательном пальце.

Володя остановился в нескольких шагах, выжидая удобного момента, чтобы подойти и представиться.

Но едва только старший офицер окончил, как бросился, точно угорелый, к трапу, ведущему наверх.

– Честь имею...

Напрасно!.. Старший офицер ничего не слышал, и его маленькая, подвижная фигурка уже была на верхней палубе и в сбитой на затылок фуражке неслась к юту²⁵.

Володя почти бежал вслед за нею, наконец настиг и проговорил:

– Честь имею явиться...

Старший офицер остановился и посмотрел на Володю недовольным взглядом занятого по горло человека, которого неожиданно оторвали от дела.

– Назначен на корвет «Коршун»...

– И зачем вы так рано явились?.. Видите, какая у нас тут спешка? – ворчливо говорил старший офицер и вдруг крикнул: – Ты куда это со смолой лезешь?.. Только запачкай мне борт! – и бросился в сторону.

– Тут, батенька, голова пойдет кругом!.. – заметил он, возвращаясь через минуту к Володе. – К командиру являлись?

– Являлся. Он разрешил мне пробыть десять дней дома.

– Ну, конечно... А то что здесь без дела толочься... Когда переберетесь, знайте, что вы будете жить в каюте с батюшкой... Что, недовольны? – добродушно улыбнулся старший офицер. – Ну, да ведь только ночевать. А больше решительно некуда вас поместить... В гардемаринской каюте нет места... Ведь о вашем назначении мы узнали только вчера... Ну-с, очень рад юному сослуживцу.

И, быстро пожав Володе руку, он понесся на бак.

Володя спустился вниз и, заметив у кают-компания вестовых, просил указать батюшкину каюту.

Один из вестовых, молодой, белобрысый, мягкотелый, с румяными щеками матрос, видимо из первогодков, не потерявший еще несколько неуклюжей складки недавнего крестьянина, указал на одну из кают в жилой палубе.

Это была очень маленькая каютка, прямо против большого машинного люка, чистенькая, вся выкрашенная белой краской, с двумя койками, одна над другой, расположенными поперек судна, с привинченным к полу комодом-шифоньеркой, умывальником, двумя складными табуретками и кенкеткой для свечи, висевшей у борта. Иллюминатор пропускал скудный свет серого октябрьского утра. Пахло сыростью.

Между койками и комодом едва можно было повернуться.

– Батюшка еще не приезжал?

²³ Подшкипер – унтер-офицер, заведующий каютой, где хранятся запасные паруса, веревки и проч. Подшкипер ведал материальной частью корабля за исключением машинного и специального имущества. – *Ред.*

²⁴ Боцман – старший унтер-офицер.

²⁵ Ют – задняя часть судна.

– Никак нет, ваше благородие! – отвечал белобрысый вестовой и, заметив, как интересуется каютой и подробно ее осматривает Володя, спросил:

– Нешто и вы с попом будете жить?

– Да, братец.

– Так позвольте вам доложить, что я назначен вестовым при этой самой каюте. Значит, и вам вестовым буду.

– Очень рад. Как тебя зовут?

– Ворсунькой, ваше благородие...

– Это какое же имя?

– Хрещеное, ваше благородие. Варсонофий, значит. Только ребята все больше Ворсунькой зовут... И господа тоже в кают-компани.

– Видно, недавно на службе?

– Первый год, ваше благородие... Мы из вологодских будем...

– А фамилия как?

– Рябов, ваше благородие...

– Ну, Рябов, – проговорил Володя, считавший неудобным звать человека уменьшительным именем, – будем друзьями жить. Не правда ли?

– Так точно, ваше благородие. Я стараться буду.

– А грамоте знаешь?

– Никак нет, ваше благородие...

– Я тебя грамоте выучу. Хочешь?

– Как прикажете, ваше благородие...

– Да я не могу приказывать. Твоя воля.

– Что ж, я согласен, ваше благородие.

– Ну, прощай, брат... Вот тебе!

Володя сунул матросу рублевую бумажку и вышел вон.

– Ишь ты! – проговорил с радостным изумлением Ворсунька и пошел рассказывать вестовым, какой добрый, простой молодой барин: и грамоте обещал выучить, и так «здря» бумажку дал.

Ашанин ушел в восторженном настроении духа.

В нескольких шагах от корвета он снова встретил пожилого рябоватого матроса с серьгой, который нес ведро с горячей смолой.

– А что, Бастрюков, каков у вас командир? Довольны вы им? – спросил Володя.

– Нашим-то Василием Федорчем? – воскликнул останавливаясь Бастрюков и словно бы удивляясь вопросу Володи. – Видно, вы про него не слыхали, барин?

– То-то, не слыхал.

– Так я вам доложу, что наш командир – прямо сказать – голубь.

– Добрый?

– Страсть добер. Я с им, барин, два года на «Забияке» в заграницу ходил, в Средиземное море. Он у нас тогда старшим офицером был. Так не то что кого-нибудь наказать линьками²⁶ или вдарить, он дурного слова никому не сказал... все больше добром... И других офицеров, которые, значит, зверствовали, стыдил да удерживал... Он матроса-то жалел... Так и прозвали мы его на «Забияке» голубем. Голубь и есть! – заключил Бастрюков.

С каким-то особенно радостным чувством слушал Володя эти похвалы старого матроса, и когда в тот же день вернулся домой, то первым делом восторженно воскликнул:

²⁶ *Линек* – небольшая, дюйма в три толщиной, веревка, которой в прежнее время били матросов по оголенным спинам. В царствование императора Александра II телесные наказания были отменены, и теперь им подвергаются только штрафованные по суду матросы.

- Ну, мамочка, если бы ты знала, что за прелесть наш капитан!
- И Володя стал передавать свои впечатления и сообщил отзыв о капитане матроса.
- Верно, он и моряк чудесный. Вы знаете нашего капитана, дядя?
- Слышал, что превосходный и образованный морской офицер, – отвечал дядя-адмирал, видимо довольный восторженным настроением племянника.

IV

Ах, как незаметно быстро пронеслись последние дни! С утра этого хмурого и холодного октябрьского дня, когда Володе надо было перебираться на корвет, Мария Петровна, то и дело вытирая набегавшие слезы, укладывала Володины вещи в сундук. Благодаря дяде и матери Володю снарядили отлично. Сундук вскоре наполнился платьем – и форменным, будущего гардемарина, и штатским, для съезда на берег за границей, бельем, обувью и разными вещами и вещицами, в числе которых были и подарки Маруси, Кости и няни. Все несли свою лепту, всем хотелось чем-нибудь да одарить милого путешественника-моряка. Ни одна мелочь не была забыта, все аккуратно уложено заботливой материнской рукой.

Тронутый, взволнованный и благодарный Володя часто входил в уютную маленькую спальную, где заливалась канарейка, и целовал то руку матери, то ее щеку, то плечо, улыбался и благодарил, обещал часто писать и уходил поговорить с сестрой и с братом, чтобы они берегли маму.

– А вот, Володя, тут варенье, – говорила Мария Петровна, показывая на большой, забитый гвоздями ящик, в котором был почти весь запас, заготовленный на зиму. – Полакомишься... За границей такого нет.

– Ах, мама, мама! – восклицал Володя и снова целовал мать.

К четырем часам пришел маленький адмирал и резким движением сунул Володе туго набитый вязаный кошелек, в котором блестели новенькие червонцы.

– Тут их сто. Сразу, смотри, не транжирь... До производства ведь еще долго... Да кошелек береги... Он у меня еще с первого моего дальнего вояжа... Одна дама вязала...

– Зачем так много, дядя?

– Пригодится... Можешь, если придется, в Париж и в Лондон съездить... Готов?

– Готов, дядя.

– У директора был? С товарищами простился?

– Все сделал.

За обедом все сидели грустные, подавленные, молчаливые. Один только адмирал был разговорчив, стараясь всех подбодрить.

– И не увидите, Мария Петровна, как пройдут три года и Володя вернется бравым мичманом. То-то порасскажет!..

Никогда в жизни никуда не опаздывавший и не терпевший, чтобы кто-нибудь опаздывал, адмирал тотчас же после обеда то и дело посматривал на свою старинную золотую английскую луковицу и спрашивал:

– Который час у тебя, Володя?

И Володя не без удовольствия вынимал из-за борта своей куртки новые золотые часы, подаренные адмиралом, и говорил дяде время.

– Твои часы верные... Секунда в секунду с моими... А вещи твои отправлены? Лаврентич увез?

– Увез, дядя.

– Ну, пора, пора, Володя, а то опоздаешь, – нетерпеливо говорил адмирал. – Пять часов!

Володя пошел прощаться с няней Матреной. Завтра все приедут в Кронштадт на казенном пароходе и все утро пробудут на корвете, а няня останется дома.

Старуха долго целовала Володю, крестила его, всхлипывала и сунула ему в руку только что доконченную пару шерстяных носков.

Володя обнимает мать, сестру и брата, еще раз подбегает к рыдающей няне, чтобы поцеловать ее, и торопливо спускается с лестницы вместе с адмиралом, который вызвался проводить племянника на пароход.

На извозчике старик-адмирал, между прочим, говорит, вернее выкрикивает, племяннику:

– Старайся, мой друг, быть справедливым... Служи хорошо... Правды не бойся... Перед ней флага не спускай... Не спустишь, а?

– Не спущу, дядя.

– Люби нашего чудного матроса... За твою любовь он тебе воздаст сторицей... Один страх – плохое дело... при нем не может быть той нравственной, крепкой связи начальника с подчиненными, без которой морская служба становится в тягость... Ну, да ты добрый, честный мальчик... Недаром влюбился в своего капитана... И времена нынче другие, не наши, когда во флоте было много жестокости... Скоро, бог даст, они будут одними воспоминаниями... Готовится отмена телесных наказаний... Ты ведь знаешь, и я против них... Однако и я наказывал – такие были времена... Но и тогда, когда жестокость была в обычае, я не был жесток, и на моей душе нет упрека в загубленной жизни... Бог миловал! И – спроси у Лаврентьича – меня матросы любили! – прибавил старик.

– Еще бы не любить вас! – воскликнул Володя, умиленный наставлениями, которые так отвечали стремлениям его юной души.

– Помни, что ни отец твой, ни я ни в ком не искали и честно тянули лямку... Надеюсь, и ты... Извозчик, что ж ты плетешься! – вдруг крикнул адмирал, когда уже пристань была в виду.

В девятом часу вечера Володя подъезжал на шлюпке с «Коршуна» к корвету, темный силуэт которого с его высокими мачтами и двумя огоньками вырисовывался на малом кронштадтском рейде.

– Кто гребет? – раздался обычный оклик часового с корвета.

– Офицер! – отвечал с катера мичман, возвращавшийся, как и Володя, из Петербурга.

Катер пристал к борту.

Два фалрепных с фонарями осветили парадный трап, и Володя вслед за мичманом поднялся на палубу.

Теперь уже палуба ничем не напоминала о беспорядке, бывшем на ней десять дней тому назад. На ней царил тишина, обычная на военном судне после спуска флага и раздачи коек. И только из чуть-чуть приподнятого, ярко освещенного люка кают-компании доносился говор и смех офицеров, сидевших за чаем.

И сам «Коршун» показался Володе во мраке осенней ночи каким-то большим и грозным, с его чернеющими орудиями и фантастической паутиной снастей, окружающей высокие мачты.

Володя спустился в кают-компанию и подошел к старшему офицеру, который сидел на почетном месте, на диване, на конце большого стола, по бокам которого на привинченных скамейках сидели все офицеры корвета. По обеим сторонам кают-компании были каюты старшего офицера, доктора, старшего штурмана и пяти вахтенных начальников. У стены, против стола, стояло пианино. Всякая большая лампа светила ярким веселым светом.

Тут за чаем, попыхивая дымком папиросы, старший офицер был совсем не тем человеком, каким видел его Володя наверху. Он добродушно встретил Володю и тут же представил юного сослуживца остальным присутствовавшим.

Всеми любезно встреченный, Володя пошел в свою каюту и с помощью Ворсуньки начал устраиваться на новом месте. Будущего его сожителя, иеромонаха с Валаама, отца Никанора, еще не было; его ждали завтра утром.

– Завтра, ваше благородие, и белье разложим в шинерку (шифоньерку), – говорил Ворсунька, – и платье развесим как следует, как поп приедет.

– Ну, ладно...

– А теперь ступайте, барин, чайку попить. Господа ардемарины кушают, а я вам постель сделаю.

Володя направился в гардемаринскую каюту и был радостно приветствован несколькими молодыми людьми, годом старше его по выпуску и знакомыми еще по корпусу. Тотчас же его познакомили и с двумя штурманскими кондукторами.

В маленькой каюте, в которой помещалось восемь человек и где стол занимал почти все свободное пространство, было тесно, но зато весело. Юные моряки шумно болтали о «Коршуне», о капитане, о Париже и Лондоне, куда все собирались съездить, о разных прелестных местах роскошных тропических стран, которые придется посетить, и пили чай стакан за стаканом, уничтожая булки с маслом.

И жидковатый чай, и хлеб, и масло казались Володе в этот вечер особенно вкусными, а все молодые люди милыми.

Разошлись около полуночи, и Володя, вернувшись в свою каюту, быстро разделся, впрыгнул на верхнюю койку, чуть не ударившись головой о потолок, и, юркнув под мягкое шерстяное одеяло, связанное матерью, почти мгновенно уснул со смутными мыслями о близких, о корвете и о чем-то беспредельно счастливом и хорошем впереди.

Глава вторая. Прощай, Россия

I

– Ваше благородие!.. Пора вставать!..

Володя высунул из-под одеяла заспанное лицо и недоумевающими сонными глазами, еще не вполне освободившийся от чар сновидений, глядел и на Ворсуньку, и на белые стены каюты, словно бы не понимая, где он находится.

– Восьмого половина. Скоро флага подъем, Владимир Николаевич. Господа уже встали! – продолжал Ворсунька, стоя у дверей и переступая с ноги на ногу.

Володя вполне очнулся и сообразил, что он на корвете, а не в каких-то таинственно-лучезарных чертогах, в каких только что был во сне. Он соскочил с койки и быстро стал одеваться.

– Как погода, Рябов?

– Пронзительная, ваше благородие... Сырость.

– А ведь мы сегодня уходим, брат.

– Точно так... Даве утром все женатые матросы с берега вернулись, ваше благородие...

Прощаться, значит, отпускали вчера вечером.

– Ты рад, что идешь в плавание?

– Никак нет, ваше благородие! – простодушно отвечал Ворсунька. – Кабы моя воля...

– Так не пошел бы?

– Никак нет. При берегу бы остался... На сухой пути сподручнее, ваше благородие... А в море, сказывают ребята, и не приведи бог, как бывает страшно... В окяне, сказывают, волна страсть какая... Небо, мол, с овчинку покажется...

– Ничего, привыкнешь.

– То-то привыкать надо, ваше благородие, – проговорил, вздохнув, Ворсунька и прибавил: – а я пойду, барин... Антиллерист приказывал кипятку. Бриться, значит.

– Ступай, ступай. Мне ничего не нужно.

Через десять минут Володя был готов и вышел наверх.

На корвете приканчивали обычную ежедневную чистку и уборку, основательность и педантизм которых могли бы привести в восторг любую голландку. Палуба, «пройденная» голиками, вычищенная и вымытая, сверкала своей белизной и тонкими, ровными черными линиями залитых смолой пазов. Орудия и все медные вещи блестели, отчищенные на диво. Белые матросские койки, свернутые в одинаковые кульки и перевязанные крест-накрест, уложенные в бортовых гнездах и выглядывающие из них своими верхушками, составляли красивую каемку поверх борта. Снасти были натянуты, и концы их или висели в красиво убранных гирляндах, или уложены в правильных бухтах. Реи были выправлены, и мягкость парусов ровными подушками белела у их середины. Одним словом, корвет сиял во всей безукоризненности чистоты и порядка военного судна.

Из-за облаков выглянуло холодное октябрьское солнце и залило корвет блеском, весело играя на ярко блестящей меди.

Погода как будто обещала разгуляться.

К восьми часам утра, то есть к подъему флага и гюйса²⁷, все – и офицеры, и команда в чистых синих рубахах – были наверху. Караул с ружьями выстроился на шканцах²⁸ с левой сто-

²⁷ Гюйс – носовой флаг [на военных кораблях поднимается во время стоянки на якоре. – Ред.]

²⁸ Шканцы – часть палубы между грот-мачтой и ютом.

роны. Вахтенный начальник, старший офицер и только что вышедший из своей каюты капитан стояли на мостике, а остальные офицеры выстроились на шканцах.

До восьми оставалось несколько минут.

Сигнальщик²⁹ сторожил эти минуты по минутной склянке песочных часов, и когда минута стала выходить, т.е. последний остаток песка высыпаться через узкое горлышко склянки из одной ее части в другую, доложил вахтенному офицеру.

– Флаг и гюйс поднять! Ворочай! – скомандовал офицер.

И в тот же момент взвились кормовой и носовой флаги, и приподнятые раньше брам-реи повернуты поперек. Барабан забил поход, караульные взяли «на караул». Все обнажили головы.

С подъемом флага начинался судовой день.

Капитану рапортовали о благополучии вверенных им частей старший офицер, доктор, старшие штурман и артиллерист.

Тем временем вахтенный офицер сдавал вахту другому, вступившему с 8 часов до полудня.

Вслед затем офицеры спустились вниз пить чай.

Сегодня все торопились, чтоб очистить поскорее стол в ожидании гостей, которые приедут провожать уходивших моряков, приодевшихся, прифранченных и взволнованных близкой разлукой с дорогими лицами.

К девяти часам уж чай отпит, все убрано со стола, и вестовые в буфетной перетирают тарелки и стекло, готовясь к завтраку, роскошному завтраку, который готовился сегодня по случаю приезда гостей. Моряки – народ гостеприимный и любят угостить.

II

Уже с девяти часов начали подходить из Кронштадта шлюпки с провожавшими, и в десять часов показался дымок парохода, шедшего из Петербурга. Вот ближе, ближе – и с корвета простыми глазами можно было увидеть пестреющие яркие пятна дамских туалетов и темные костюмы мужчин. Глаза моряков впились в пароход: едут ли все те, которые обещали?

Через двадцать минут пароход пристал к борту корвета. Положена была сходня, и несколько десятков лиц сошли на палубу. Вызванный для встречи двух приехавших адмиралов караул отдавал им честь, и их встретили капитан и вахтенный офицер.

Володя уже целовался с матерью, братом и сестрой.

– Ну, пойди, покажи-ка нам твою конурку, Володя, – говорил маленький адмирал, подходя к Володе после нескольких минут разговора с капитаном. – А ваш корвет в образцовом порядке, – прибавил адмирал, окидывая своим быстрым и знающим морским глазом и палубу, и рангоут. – Приятно быть на таком судне.

Володя повел всех вниз показывать свою каюту.

Сегодня она имела опрятный и домовитый вид. Приехавший утром батюшка, старик-иеромонах, имел с собой очень мало вещей и охотно уступил своему сожителю весь комод-шифоньерку, оставив для себя только один ящик. Таким образом, Володе было куда убрать все белье, вещи и часть своего платья. Остальное – гардемариновское, – тщательно уложенное заботливым Ворсунькой, хранилось в сундуке, который был убран, по выражению вестового, в надежное место; а ящик с вареньем был поставлен в ахтер-люке – месте, где хранится офицерская провизия.

Все в Володиной каюте было аккуратно прибрано Ворсунькой. Медные ручки комода, обод иллюминатора и кенкетка, на диво отчищенные, так и сияли. По стенке, у которой была

²⁹ Сигнальщик – матрос, поднимающий сигнальные флаги. На вахтах он находится вблизи вахтенного, наблюдает в подзорную трубу за горизонтом, бросает лаг – инструмент, измеряющий скорость хода корабля, и исполняет обязанности рас-сылного при вахтенном офицере.

расположена койка Володи, прибит был мягкий ковер – подарок Маруси, и на нем красовались в новеньких рамках фотографии матери, сестры, брата, дяди-адмирала и няни Матрены.

Батюшки не было, и все Володины близкие входили в каюту, подробно осматривая каждый уголок. Мать даже отворила все ящики комода и смотрела, в порядке ли все лежит.

– Это, мама, все мой вестовой, а не я! – улыбнулся молодой человек.

– Ах, какая маленькая каютка! Тут и повернуться негде! – воскликнула сестра, присаживаясь на табуретку.

– А зачем ему больше? Он не такая стрекоза, как ты! – шутливо заметил адмирал, стоявший у дверей. – Койка есть, где спать, и отличное дело... А захотел гулять, – палуба есть... Прыгай там.

– Только бы не было сыро. А то долго ли ревматизм схватить! – заметила мать.

– Не сахарный он... не отсыреет, Мария Петровна... В прежние времена и не в таких каютах живали.

– А все-таки, Володя, не снимай фуфайки. Обещаешь?

– Обещаю, мама.

– И ног не промачивай.

– И ног не промочу. Непромокаемые сапоги есть.

– И вообще береги себя, голубчик. Не растрать здоровья...

И, воспользовавшись тем, что они одни, она порывисто и страстно прижала к себе голову сына и несколько секунд безмолвно держала у своей груди, напрасно стараясь удержать обильно текущие слезы.

– Смотри же, пиши чаще... и длинные письма... И как же будет скучно без тебя, мой славный! – говорила Мария Петровна.

– И мне пиши, Володя, – просила сестра.

– И мне! – говорил брат.

– Буду, буду всем писать.

Все по очереди посидели в Володиной каюте, потрогали его постель, заглянули в шифоньерку, открывали умывальник, смотрели в открытый иллюминатор и, наконец, ушли посмотреть на гардемаринскую каюту, где Володе придется пить чай, завтракать и обедать.

Маленькая каютка была полна провожающих. Володя тотчас же представил всех бывших в каюте гардемарин и кондукторов своим. Ашанины посидели там несколько минут и пошли в кают-компанию.

По дороге, у буфетной, стоял Ворсунька.

– Вот, мама, мой вестовой...

Мать ласково взглянула своими чудными большими и кроткими глазами на молодого белобрысого вестового и сказала:

– Уж вы, пожалуйста, хорошенько ходите за сыном... Вещи его берегите, а то он у меня растеряха.

– Все будет сохранно у барина... Не сумлевайтесь, сударыня, ваше превосходительство! – отвечал Ворсунька, титулуя так Марию Петровну ввиду того, что около нее шел адмирал.

– Какой он симпатичный! – шепнула Маруся.

– Прелесть! – отвечал Володя.

– Первогодок? – спросил дядя, обращаясь к Ворсуньке.

– Точно так, ваше превосходительство.

– И, верно, вологодский?

– Точно так, ваше превосходительство.

– Смотри, вовремя буди к вахтам своего барина, – шутливо промолвил адмирал и, подавая Ворсуньке зеленую бумажку, прибавил: – Вот тебе, матросик... За границей выпьешь за мое здоровье!

- Много благодарны, ваше превосходительство, но только я этим не занимаюсь.
- Не пьешь?
- Никак нет... Я в загранице гостинца куплю своей бабе.
- А баба где? Здесь или в деревне?
- В деревне, ваше превосходительство.

В кают-компаниях тоже сидели гости, наполнявшие сегодня корвет. Они были везде: и по каютам, и наверху. Почти около каждого офицера, гардемарина и кондуктора группировалась кучка провожавших. Дамский элемент преобладал. Тут были и матери, и сестры, и жены, и невесты, и просто короткие знакомые. Встречались и дети.

Несмотря на старания моряков казаться веселыми и вести оживленные разговоры, чувствовалось грустное настроение. Разговоры как-то не клеились, внезапно прерывались, и среди затишья слышался подавленный вздох. Вместо улыбок на лицах наворачивались слезы.

Хорошенькая, изящно одетая блондинка с прелестными голубыми глазами, молодая и свежая, только что вышла из каюты с молодым красивым лейтенантом, взволнованная, полная отчаяния. И лейтенант был бледен, хотя и старался сохранить бодрый вид. Они быстро прошли в кают-компанию, поднялись на палубу, и оба, облокотившись о борт и прижавшись друг к другу, не находя слов, безмолвно смотрели на свинцовую, слегка рябившую воду затихшего рейда. В каюте им не сиделось: слишком тяжело было... да и здесь казалось не лучше. По временам они взглядывали долго и нежно один на другого и молодая женщина глотала рыдания.

– Ну, полно, полно... успокойся, Наташа! – говорил лейтенант, делая невероятные усилия, чтобы самому не расплакаться.

Еще бы!

И года не прошло, как они поженились, оба влюбленные друг в друга, счастливые и молодые, и вдруг... расставаться на три года. «Просись, чтобы тебя не посылали в дальнее плавание», – говорила она мужу. Но разве можно было проситься? Разве не стыдно было моряку отказываться от лестного назначения в дальнее плавание?

И он не просился, чтоб его оставили, и вот теперь как будто жалеет об этом...

– Каждый День пиши...

– И ты...

– И фотографии чаще посылай... Я хочу знать, не изменилось ли твое лицо...

– И ты посылай...

И снова молчание, то грустное молчание двух родных душ, которое красноречивее всяких излияний.

Загляните в каюты, и вы увидите еще более трогательные сцены.

Вон в этой маленькой каютке, рядом с той, в которой помещаются батюшка и Володя, на койке сидит пожилой, волосатый артиллерист с шестилетним сынишкой на руках и с необыкновенной нежностью, которая так не идет к его на вид суровому лицу, целует его и шепчет что-то ласковое... Тут же и пожилая женщина – сестра, которой артиллерист наказывает беречь «сиротку»...

Слезы катятся по морщинистому, некрасивому лицу артиллериста, и он еще крепче прижимает к себе единственно дорогое ему на свете существо.

Когда Ашанины вошли в кают-компанию, любезные моряки тотчас же их усадили. Старший офицер, похожий на «Черномора», – одинокий холостяк, которого никто не провожал, так как родные его жили где-то далеко, в провинции, на юге, – предложил адмиралу и дамам занять диван; но адмирал просил не беспокоиться и тотчас же перезнакомился со всеми офицерами, пожимая всем руки. Старшему офицеру он похвалил исправный вид «Коршуна», чем привел «Черномора» в немалое удовольствие. Старика Ашанина знали в Кронштадте по его репутации лихого моряка и адмирала, и похвала такого человека что-нибудь да значила. В низеньком, худошавом старике, старшем штурманском офицере «Коршуна», Степане Ильиче

Овчинникове, адмирал встретил бывшего сослуживца в Черном море, очень обрадовался, подсел к нему, и они стали вспоминать прошлое, для них одинаково дорогое.

Юный мичман Лопатин, представленный Володей своим, старался занимать дам. Румяный, жизнерадостный и счастливый, каким может быть только двадцатилетний молодой человек на заре жизни, полный надежд от будущего, он был необыкновенно весел и то и дело смеялся.

– А вас никто не провожает? – спросила его Мария Петровна.

– Некому!

– Родные ваши не здесь?

– В Тамбовской губернии.

И со свойственной молодым людям откровенностью он тотчас же рассказал своим новым знакомым о том, что мать его давно умерла, что отец с тремя сестрами и теткой живут в деревне, откуда он только что вернулся, проведя чудных два месяца.

– А теперь вот впереди предстоят еще лучшие месяцы и годы! – весело заключил молодой мичман, широко улыбаясь своей доброй улыбкой и открывая ряд ослепительно белых зубов.

Все невольно улыбнулись в ответ. И всем он показался таким славным и хорошим.

– Ты сойдишь с Лопатиным, Володя... Он, кажется, прекрасный молодой человек... В нем что-то прямое и открытое, – говорила сыну мать, когда, посидев в кают-компании, они вышли все наверх и уединились на юте, у самой кормы, а юный мичман, не желая мешать семейному разговору, деликатно удалился и уже весело болтал с какой-то молоденькой барышней...

– На корвете, мама, все славные...

А время летело незаметно в этих обрывистых разговорах, недавних воспоминаниях, грустных взглядах и вздохах. И по мере того как оно уходило, напоминая о себе боем колокола на баке, отбивающего склянки, лица провожавших все делались серьезнее и грустнее, а речи все короче и короче.

И напрасно дядя-адмирал, и сам втайне несколько расстроенный, старался подбодрить эту маленькую кучку, окружавшую Володю, своими шутками и замечаниями. Они теперь не производили впечатления, да и все чувствовали их неестественность.

А кругом, как нарочно, было так мрачно и серо в этот осенний день. Солнце спряталось за тучи. Надвигалась тихо пасмурность. Море, холодно-спокойное и бесстрастное, чуть-чуть рябило, затихшее в штиле. В воздухе стояла пронизывающая сырость.

Все примолкли и как-то притихли, полные невеселых дум.

В голове у матери носились мрачные мысли об опасностях которым будет подвергаться Володя. А ведь эти опасности так часты и иногда непредотвратимы. Мало ли бывает крушений судов?... Мало ли гибнет моряков?... Еще недавно...

И ей, как нарочно, припомнилась ужасная гибель корабля «Лефорт», бывшая три года тому назад и взволновавшая всех моряков... В пять минут, на глазах у эскадры, перевернулся корабль, и тысяча человек нашли могилу в Финском заливе, у Гогланда. И ни одна душа не спаслась...

При этом воспоминании невольная дрожь охватывает бедную женщину. Она тревожно смотрит на сына и спрашивает, стараясь придать своему вопросу равнодушный тон:

– А ваш корвет хорошее судно, Володя?

– Говорят, отличное, мама. Недавно выстроено.

Мать ищет взглядом подтверждения слов сына адмиралом.

– Превосходнейшее судно, Мария Петровна! – подтверждает и адмирал.

– А его не может перевернуть?

В ответ адмирал смеется.

– И придет же вам в голову, Мария Петровна...

– А вот «Лефорт» же перевернулся.

– Ну, так что же? – раздраженно отвечает дядя-адмирал. – Ну, перевернулся, положим, и по вине людей, так разве значит, что и другие суда должны переворачиваться?.. Один человек упал, значит, и все должны падать... Гибель «Лефорта» – почти беспримерный случай во флоте... Раз в сто лет встречается... да и то по непростительной оплошности...

Адмирал говорит с обычной своей живостью и несколько кипит «бабьими рассуждениями», как называл он всякие женские разговоры об опасностях на море.

И эта раздражительность адмирала несколько успокаивает мать.

– Да вы не сердитесь, Яков Иванович... Я так только... спросила...

– Хитрите... хитрите... Я знаю, что вам пришло в голову... Так вы выкиньте эти пустяки из головы. Никогда «Коршун» не перевернется... И нельзя ему перевернуться... Законы механики... Вот у Володи спросите... Он эти законы знает, а я позабыл.

В эту минуту к Ашаниным подходит старший офицер и, снимая фуражку со своей кудлатой головы, просит сделать честь позавтракать вместе в кают-компании.

Завтрак был обильный. Шампанское лилось рекой. Гостеприимные моряки с капитаном во главе угощали своих гостей. За столом было несколько тесновато для пятидесяти человек, и потому завтракали *a la fourchette*³⁰. К концу завтрака тосты шли за тостами. Пили за здоровье дам, за всех провожающих, за адмирала Ашанина, а старик адмирал провозгласил тост за уходящих моряков и пожелал им хорошего плавания. Все гости чокались с моряками, и немало слез упало в бокалы... Хорошенькая блондинка, возбуждавшая общее участие, была бледна, как смерть, и не отходила от мужа... Артиллерист не показывался... Ему хотелось последние минуты провести с «сироткой».

Пары уже гудели. Шлюпки были подняты. «Выхаживали» на шпигель³¹, поднимая якорь.

Капитан и старший офицер вышли из кают-компании, и через несколько минут через приподнятый люк кают-компании донесся звучный, молодой тенорок вахтенного офицера:

– Свистать всех наверх с якоря сниматься!

И вслед за тем боцман засвистал в дудку и зычным голосом крикнул, наклоняясь в люк жилой палубы:

– Пошел все наверх с якоря сниматься!

Прибежавший в кают-компанию сигнальщик тоже крикнул:

– Пожалуйте все наверх с якоря сниматься!

Пора расставаться и уходить гостям. Все оставили кают-компанию и вышли на палубу, чтобы по сходне переходить на пароход.

Еще раз, еще и еще обняла мать своего Володю и повторяла все те же слова, осеняя его крестным знаменем и глотая рыдания:

– Береги себя, родной!.. Пиши... носи фуфайку... Прощай...

Наконец, она его отпустила и, не оглядываясь, чтобы снова не вернуться, вошла на сходню.

– Береги маму! – шептал Володя, целуясь с сестрой.

– Береги маму! – повторил он, обнимая брата.

Адмирал быстрым движением привлек племянника к себе, поцеловал, крепко потряс руку и сказал дрогнувшим голосом:

– С богом... Служи хорошо, мой мальчик...

И бодро, легкой поступью, побежал по сходне, словно молодой человек. У сходни толпились. Раздавались поцелуи, слышались рыдания и вздохи, пожелания и только изредка веселые приветствия.

³⁰ Стоя (*франц.*).

³¹ Шпигель – вертикальный ворот, которым поднимают якорь.

Артиллерист, высокий и плечистый, на своих руках перенес сынишку, бережно прижимая его к своей груди, и скоро возвратился оттуда угрюмый и мрачный, точно постаревший, сконфуженно смахивая своей здоровенной рукой крупные слезы.

С какой-то старушкой сделалось дурно, и ее перенесли на руках. А хорошенькая блондинка так и повисла на шее мужа, точно не хотела с ним расстаться.

– Наташа... Наташа... успокойся... все смотрят, – шептал муж.

Наконец, она оторвалась и перешла сходню. Тогда и лейтенант, как ни храбрился, а не выдержал и заплакал.

– Ничего, братец ты мой, не поделаешь! – проговорил один из матросов, наблюдавший сцены прощанья господ.

– И у меня баба голосила, когда я уходил из деревни, – отвечал другой... – Всякому жалко... То-то и лейтенантова женка ревмя ревет...

С парохода и с корвета обменивались последними словами:

– Прощайте... Прощай!

– Володя!.. смотри... носи фуфайку... Пиши...

– Христос с тобой...

– Помни слово... Леля... Держи его! Не забывай меня! – взволнованно кричал молодой офицер-механик миловидной барышне в яркой шляпке.

– Я-то?..

И слезы помешали, видно, ей докончить, что она не забудет своего жениха.

– Капитолина Антоновна!.. мальчика-то... берегите!..

– Будьте спокойны, братец...

– Вася... Васенька... где ты?.. Дай на тебя взглянуть!..

– Я здесь, мамаша... Прощайте, голубушка!.. Из Копенгагена получите письмо... Пишите в Брест *poste restante*³².

– Алеша... помни, что я тебе говорил... не транжирь денег.

«Алеша» благоразумно молчал.

Наконец, последний из провожающих перешел на пароход.

– Никого больше нет на корвете? – спросил старший офицер боцмана.

– Ни одного «вольного»³³, ваше благородие. Все каюты обегал, – докладывал боцман.

С парохода убрали сходню, и пароход тихо отходил.

– Панер³⁴! – крикнули с бака.

III

– Тихий ход вперед! – скомандовал капитан в переговорную трубку в машину, когда встал якорь.

Машина тихо застучала. Забурлил винт, и «Коршун» двинулся вперед, плавно рассекая воду своим острым носом.

Матросы обнажили головы и осеняли себя крестными знаменьями, глядя на золоченые маковки кронштадтских церквей.

С парохода кричали, махали платками, зонтиками. С корвета офицеры, толпившиеся у борта, махали фуражками.

³² До востребования (*франц.*).

³³ «Вольным» матросы называют каждого штатского, постороннего.

³⁴ Положение якорной цепи, перпендикулярное к воде при выхаживании якоря, когда последний еще не встал, т.е. не отделился от грунта.

Стоя на корме, Володя еще долго не спускал глаз с парохода и несколько времени еще видел своих. Наконец, все лица слились в какие-то пятна, и самый пароход все делался меньше и меньше. Корвет уже шел полным ходом, приближаясь к большому рейду.

– Приготовиться к салюту! – раздался басок старшего офицера.

Матросы стали у орудий, и тот самый пожилой артиллерист, который с таким сокрушением расставался с сыном, теперь напряженный, серьезный и, казалось, весь проникнутый важностью салюта, стоял у орудий, ожидая приказа начать его и взглядывая на мостик.

Когда корвет поравнялся с Петровской батареей и старший офицер махнул артиллеристу головой, он скомандовал:

– Первое пли... второе пли... третье пли...

Командовал он с видимым увлечением, перебегая от орудия к орудию и про себя отсчитывая такты, чтобы между выстрелами были ровные промежутки.

И девять выстрелов гулко разнеслись по рейду. Белый дымок из орудий застлал на минуту корвет и скоро исчез, словно растаял в воздухе.

С батареи отвечали таким же прощальным салютом.

Скоро корвет миновал брандвахту, стоящую у входа с моря на большой рейд: Кронштадт исчез в осенней мгле пасмурного дня. Впереди и сзади было серое, свинцовое, неприветное море.

– Прощай, матушка Рассея! Прощай, родимая! – говорили матросы.

И снова крестились, кланяясь по направлению к Кронштадту.

А корвет ходко шел вперед, узлов³⁵ по десяти в час, с тихим гулом рассекая воду и чуть-чуть подрагивая корпусом.

Машина мерно отбивала такты, необыкновенно однообразно и скучно.

Уже давно просвистали подвахтенных вниз, и все офицеры, за исключением вахтенного лейтенанта, старшего штурмана и вахтенного гардемарина, спустились вниз, а Володя, переживая тяжелые впечатления недавней разлуки, ходил взад и вперед по палубе в грустном настроении, полном какой-то неопределенно-жгучей и в то же время ласкающей тоски. Ему и жаль было своих, особенно матери, и впереди его манило что-то, казалось ему, необыкновенно хорошее, светлое и радостное... Но оно было еще где-то далеко-далеко, а пока его охватывало сиротливое чувство юноши, почти мальчика, в первый раз оторванного от семьи и лишённого тех ласк, к которым он так привык. И сознание одиночества представилось ему еще с большей силой под влиянием этого серого осеннего дня. Все на корвете, казавшиеся ему еще утром славными, теперь казались чужими, которым нет до него никакого дела. Душа его в эту минуту мучительно требовала ласки и участия, а те, которые бы могли дать их, теперь уже разлучены с ним надолго.

И ему хотелось плакать, хотелось, чтобы кто-нибудь пожалел его и понял его настроение.

– Здравия желаю, барин! – окликнул знакомый приятный басок Володю, когда он подошел к баку.

Володя остановился и увидел своего знакомого пожилого матроса с серьгой в ухе, Михаилу Бастрюкова, который в куцом бушлатике стоял, прислонившись к борту, и сплескивал какую-то веревку. Его глаза ласково улыбались Володе, как и тогда при первой встрече.

– Здравствуй, Бастрюков. Что, ты на вахте?

³⁵ Вережка, которая привязывается к лагу – инструменту, имеющему вид сектора и служащему для измерения промытого расстояния, называется лаг-линем. Он развязывается обыкновенно так: от вершины сектора оставляют на линии расстояние, равное длине судна, и кладут в этом месте марку. От этой марки измеряют линь на части в 48 фут, т.е. немного меньшие 1/120 итальянской мили. Через каждые 48 фут вплесниваются кончики веревок с узелками: одним, двумя, тремя и т.д., почему и самые расстояния называются узлами. Сколько узлов высучит лаг-линия в течение 30 секунд, столько, значит, итальянских миль (миля – 1 3/4 версты) судно проходит в час. Объясняется это тем, что 30 секунд составляют 1/120 часа, узел тоже почти 1/120 часть мили. Принято считать узел в 48 фут, а не в 50,7, как бы следовало (потому что 1/120 мили равняется 50,7 ф.), для того, чтобы судно из предосторожности считало себя всегда впереди настоящего места. Лаг-линь наматывается на вьюшку.

– На вахте, барин... Вот от скуки снасть плету, – улыбнулся он. – А вы, барин, шли бы вниз, а то, вишь, пронзительная какая погода.

– Не хочется вниз, Бастрюков.

– Заскучали, видно? – участливо спросил матрос. – Видел я, как вы с маменькой-то прощались... Да и как не заскучить? Нельзя не заскучить... И наш брат, кажется, привычное ему дело без сродственников жить, и тот, случается, заскучит... Только не надо, я вам скажу, этой самой скуке воли давать... Нехорошо! Не годится! – серьезно прибавил Бастрюков.

– Отчего нехорошо?

– Смутная мысль в голову ползет. А человеку, который ежели заскучит: первое дело работа. Ан – скука-то и пройдет. И опять же надо подумать и то: мне нудно, а другим, может, еще нуднее, а ведь терпят... То-то и есть, милый баринок, – убежденно прибавил матрос и опять улыбнулся.

И – странное дело – эти немудрые, казалось, слова и вся эта необыкновенно симпатичная фигура матроса как-то успокоительно подействовали на Володю, и он не чувствовал себя одиноким.

Глава третья. Первые впечатления

I

Со следующего же дня началась служба молодого моряка, и старший офицер определил его обязанности.

Вместе с другими четырьмя гардемаринами, окончившими курс, он удостоился чести исполнять должность «подвахтенного», т.е. быть непосредственным помощником вахтенного офицера и стоять с ним вахты (дежурства), во время которых он безотлучно должен был находиться наверху – на баке и следить за немедленным исполнением приказаний вахтенного офицера, наблюдать за парусами на фок-мачте, за кливерами³⁶, за часовыми на носу, смотрящими вперед, за исправностью ночных огней, – одним словом, за всем, что находилось в его районе.

Кроме вахтенной службы, Володя был назначен в помощь к офицеру, заведующему кубриком, и самостоятельно заведывать капитанским вельботом и отвечать за его исправность. Затем, по судовому расписанию, составленному старшим офицером, во время авралов, то есть таких работ или маневров, которые требуют присутствия всего экипажа, молодой моряк должен был находиться при капитане.

– Вот и все! – проговорил старший офицер, перечислив обязанности молодого человека. – Надеюсь, справитесь? – прибавил он.

– Постараюсь, Андрей Николаевич.

– Кроме того, вам не мешает познакомиться и с машиной корвета... Потом будете стоять и машинные вахты... И по штурманской части надо наостриться... Ну, да не все сразу, – улыбнулся старший офицер. – И, главное, от вас самого зависит научиться всему, что нужно для морского офицера. Была бы только охота... И вот еще что...

И маленький черноволосый старший офицер, беседовавший глаз на глаз в своей каюте с молодым человеком, сидевшим на табурете, протянул любезно Володе свой объемистый портсигар со словами «курите, пожалуйста!» и продолжал:

– Позвольте вам дать добрый совет, Ашанин, послужившего моряка: старайтесь жить со всеми дружно... Будьте уживчивы... Извиняйте недостатки в сослуживцах, не задирайте никого, остерегайтесь оскорблять чужие самолюбия, чтобы не было ссор... Ссоры на судне – ужасная вещь, батенька, и с ними не плавание, а, можно сказать, одна мерзость... На берегу вы поссорились и разошлись, а ведь в море уйти некуда... всегда на глазах друг у друга... Помните это и сдерживайте себя, если у вас горячий характер... Морякам необходимо жить дружной семьей.

Он помолчал и спросил:

– Ну, что, не очень вам скучно после вчерашних проводов?

– Ничего, Андрей Николаевич.

– Уж такая наша служба, батенька... Надо расставаться с близкими! – промолвил старший офицер и, показалось Володе, подавил вздох. – А в каюте удобно устроились с батюшкой?

– Отлично.

– Ну, очень рад... Можете идти... Вы подвахтенный в пятой вахте, у мичмана Лопатина. Вам с полуночи до четырех на вахту... Помните, что опаздывать на вахту нельзя... За это будет строго взыскиваться! – внушительно прибавил старший офицер, протягивая руку.

³⁶ *Кливера* – косые треугольные паруса, ставящиеся впереди фок-мачты, на носу судна.

Володя ушел весьма довольный, что назначен в пятую вахту к тому самому веселому и жизнерадостному мичману, который так понравился с первого же раза и ему, и всем Ашаниным. А главное, он был рад, что назначен во время авралов состоять при капитане, в которого уже был влюблен.

И эта влюбленность дошла у юноши до восторженности, когда дня через три по выходе из Кронштадта однажды утром Ашанин был позван к капитану вместе с другими офицерами и гардемаринами, кроме стоявших на вахте.

Когда все собравшиеся уселись, капитан среди глубокой тишины проговорил несколько взволнованным голосом:

– Господа! Я попросил вас, чтобы откровенно высказать перед вами мои взгляды на отношения к матросам. Я считаю всякие телесные наказания позорящими человеческое достоинство и унижающими людей, которые к ним прибегают, и полагаю... даже более... уверен, что ни дисциплина, ни морской дух нисколько не пострадают, если мы не будем пользоваться правом наказывать людей подобным образом... Я знаю по опыту... Я три года был старшим офицером и ни разу никого не наказал и – честью заверяю вас, господа, – трудно было найти лучшую команду... Русский матрос – золото... Он смел, самоотвержен, вынослив и за малейшую любовь отплачивает сторицей... Докажем же, господа, своим примером, что с нашими матросами не нужны ни линьки, ни розги, ни побои... Вопрос об отмене телесных наказаний уже рассматривается в нашем ведомстве... Благодаря настояниям нашего генерал-адмирала в скором времени выйдет и закон, но пока офицеры еще пользуются правом телесного наказания... Так откажемся, господа, теперь же от этого права, и пусть на «Коршуне» не будет ни одного позорно наказанного... Согласны ли, господа офицеры?

У Володи и у большинства молодых людей восторженно сияли лица и горячей бились сердца... Эта речь капитана, призывающая к гуманности в те времена, когда еще во флоте телесные наказания были во всеобщем употреблении, отвечала лучшим и благороднейшим стремлениям молодых моряков, и они глядели на этого доброго и благородного человека восторженными глазами, душевно приподнятые и умиленные.

Быть может, и даже наверное, не все господа офицеры разделяли мнение капитана, но все ответили, что согласны на предложение командира.

На серьезном лице командира отразилось радостное чувство, и он весело сказал:

– Итак, господа, на «Коршуне» телесных наказаний не будет?

– Не будет! – торжественно отвечали все.

– И вы увидите, господа, какая лихая у нас будет команда! – воскликнул капитан. – Не правда ли, Андрей Николаевич? – обратился он к старшему офицеру.

– Надеюсь, что не ударит лицом в грязь.

– И я прошу вас, Андрей Николаевич, приказать боцманам и унтер-офицерам не иметь у себя линьков. Чтобы я их не видал!

– Есть! – отвечал старший офицер.

– И чтобы они не дрались, а то срам...

– От этого отучить их будет трудно, Василий Федорович... Вы сами знаете... привычка...

И многие офицеры находили, что трудно, имея в виду и собственные привычки.

– Не спорю, что трудно, но все-таки надо внушить им, что это нельзя... Пусть и матросы знают об этом...

– Слушаю-с...

– Надеюсь, господа, что вы своим примером отучите и боцманов от кулачной расправы... К сожалению, на многих судах офицеры дерутся... Закон этого не разрешает, и я убедительно прошу вас соблюдать закон.

Многие офицеры, недовольные этой просьбой, равносильной приказанию, молчали, видимо, далеко не сочувственно и чувствовали, как будет им трудно избавиться от прежних

привычек. Но делать было нечего. Приходилось подчиняться и утешаться возможностью утолять свой служебный гнев хотя бы тайком, если не открыто, чтобы не навлечь на себя неудовольствия капитана. Не особенно был, кажется, доволен и старший офицер, довольно фамильярно в минуты вспышек обращавшийся с матросскими физиономиями.

– Мне остается еще, господа, обратиться к вам с последней просьбой: это... не употреблять в обращении к матросам окончаний, не идущих к службе...

Все улыбнулись, улыбнулся и капитан.

– Я только боюсь, что моя просьба будет невыполнима... Моряки так привыкли к энергичным выражениям...

– Не знаю, как другие, Василий Федорович, а я... я... каюсь... не могу обещать, чтобы иной раз и не того... не употребил крепкого словечка! – проговорил старший офицер.

– И я не обещаю.

– И я...

– И я...

– Но по крайней мере хоть не очень! – проговорил смеясь капитан, знавший, что его просьба действительно слишком требовательна для моряков.

И, обращаясь к гардемаринам, он продолжал:

– Но вы, господа гардемарины, еще не имеющие наших морских привычек, не приучайтесь к ним... прошу вас... Помните, что матрос такой же человек, как и мы с вами. Вас, господа, я попрошу в свободное время заниматься с командой... учить матросов грамоте, знакомить их с географией, читать им подходящие вещи. Каждому из вас будет поручено известное количество людей, и вы посвятите им час или два времени в день. Надеюсь, вы от этого не откажетесь, и на «Коршуне» у нас не будет ни одного неграмотного³⁷.

Нечего и говорить, что все молодые люди с восторгом приняли предложение капитана.

Отпуская офицеров, капитан попросил гардемаринчиков остаться.

– Мы побеседуем еще о разных делах, – проговорил он со своей хорошей улыбкой.

И, любезный и приветливый, он усадил поднявшихся было молодых людей и, предлагая папиросы, снова заговорил о важности умственного развития матросов особенно теперь, после величайшей реформы, освободившей несколько миллионов людей от крепостной зависимости.

– Теперь и матрос уже не может быть тем, чем был... темным и невежественным... И мы обязаны помочь ему в этом, насколько умеем.

Видимо, это дело было близко сердцу капитана. Он объяснил молодым людям подробный план занятий, начиная с обучения грамоте, арифметике и кончая разными объяснительными чтениями, приуроченными к понятиям слушателей, вполне уверенный, что господа гардемаринчики охотно поделятся своими знаниями и будут усердными учителями.

– И вы увидите, какие будут у вас внимательные ученики!.. На днях я вам выдам запас азбук и кое-какой запас народных книг... Каждый день час или полтора занятий, но, разумеется, никаких принуждений. Кто не захочет, – не приневоливайте, а то это делается принуждением и... тогда все пропало... Кроме этих занятий, мы устроим еще чтение с глобусом... Нам надо смастерить большой глобус и начертить на нем части света... Найдутся между вами мастера?

Мастеров нашлось несколько человек.

– И отлично. Работайте, господа, и как окончите глобус, повесим его в жилой палубе. Каждый день один из вас будет отмечать на нем пройденное «Коршуном» расстояние и точки широты и долготы и читать географические лекции. Таким образом, матросы будут знать, куда

³⁷ Обучение матросов грамоте было хорошей традицией на лучших кораблях дальнего плавания. В частности, из документов известно, что на корвете «Калевала», на котором плавал Станюкович, каждому неграмотному матросу была выдана азбука. – *Ред.*

мы едем, и будут иметь кое-какие сведения о портах, которые посетим... От ваших талантов, господа, будет зависеть, насколько они усвоят ваши объяснения... Впрочем, наши матросики – народ толковый... вы увидите, – и через три года они вернутся домой, благодаря вам, кое-что знающими, и помянут вас добром...

Капитан помолчал и затем начал:

– Надеюсь, господа, что и вы сами воспользуетесь плаванием, чтобы быть дельными моряками. Кроме обычной службы, вахт и занятий по расписанию, я буду просить вас каждого, кто стоит на вахте с 4 до 8 утра, делать астрономические наблюдения и к полудню вычислить широту и долготу помимо штурмана... Это необходимо уметь моряку, хотя, к сожалению, далеко не все моряки это умеют... Кроме того, я попрошу вас ознакомиться и с машиной корвета и знать ее, чтоб потом, когда вам придется быть капитанами, не быть в руках механиков. Все это я буду от вас требовать, а теперь позвольте вам дать дружеский совет, господа... Надеюсь, вы не будете в претензии, что я вам хочу дать совет, так как он от чистого сердца.

Все молодые люди заявили, что они рады выслушать совет Василия Федоровича.

– Не забудьте, что быть специалистом-моряком еще недостаточно, и что надо, кроме того, быть и образованным человеком... Тогда и самая служба делается интереснее и осмысленнее, и плавание полезными и поучительными... А ведь все мы, господа, питомцы одного и того же морского корпуса, не можем похвалиться общим образованием. Все мы «учились чему-нибудь и как-нибудь»... Не правда ли?

– Правда... правда! – ответили молодые люди.

– От вас зависит в плавании пополнить этот пробел... Времени довольно, чтобы позаняться и почитать... Если кают-компанейская библиотека окажется недостаточна, моя к вашим услугам всегда... У меня есть кое-какие книги по истории, литературе, есть путешествия... Советую ознакомиться по книгам со странами, которые нам придется посетить... Тогда и ваше личное знакомство с ними будет плодотворно, а не ограничится только посещениями театров, кафе-ресторанов... Тогда, вернувшись из плавания, вы можете действительно сказать, что кое-что видели и кое-чему научились... И сколько духовного наслаждения вы получите, если будете смотреть на мир божий, на вечно окружающую нас природу – и на море, и на небо – так сказать, вооруженным глазом, понимающим ее явления, и воспринимать впечатления новых стран, совсем иных культур и народов, приготовленные предварительным знакомством с историей, с бытом ее обитателей, с ее памятниками... Ну, да что распространяться... Вы это знаете и сами отлично. Повторяю: книги мои в вашем распоряжении...

Взоры молодых людей невольно обратились на два огромных шкафа, наполненных книгами.

– Половина книг, господа, на английском и французском языках, – продолжал капитан. – Вы владеете ими?

Увы! хотя все и учились в морском корпусе и у «англичанина», и у «француза», но знания их оказались самыми печальными: ни один не мог прочесть английской книги, и двое с грехом пополам знали французский язык.

– И теперь, значит, как и в мое время, языкам не везет в морском корпусе? – усмехнулся капитан. – Надо, значит, самим учиться, господа, как выучился и я. Моряку английский язык необходим, особенно в дальних плаваниях... И при желании выучиться нетрудно... И знаете ли, что?.. Можно вам облегчить изучение его...

Гардемарины вопросительно взглянули на капитана.

– Мы можем в Англии взять с собой в плавание учителя-англичанина, конечно, на наш общий счет, пропорционально получаемому содержанию, – деликатно заметил капитан, которому, как знающему, учиться, однако, не предстояло. – Вероятно, все офицеры согласятся на это... Хотите?

Все, конечно, изъявили согласие и скоро вышли из капитанской каюты как-то духовно приподнятые, полные жажды знания и добра, горевшие искренним желанием быть не только отличными моряками, но и образованными, гуманными людьми.

Ничего подобного не слышали они никогда ни от корпусных педагогов, ни от капитанов, с которыми плавали, бывши кадетами...

Эта проповедь человечности, этот призыв к знанию были чем-то неслыханным во флоте в те времена. Чем-то хорошим и бодрящим веяло от этих речей капитана, и служба принимала в глазах молодых людей более широкий, осмысленный характер, чуждый всякого угнетения и произвола.

Для многих из этих юнцов, бывших на «Коршуне», этот день был, так сказать, днем просветления и таким лучезарным остался на всю их жизнь.

Володя вышел от капитана взволнованный и умиленный. Он в тот же день принялся за историю Шлоссера и дал себе слово основательно заняться английским языком и прочитать всю капитанскую библиотеку.

II

Когда в тот же день старший офицер призвал к себе в каюту обоих боцманов, Федотова и Никифорова, двух старых служак, отзвонивших во флоте по пятнадцати лет и прошедших старую суровую школу, и сказал им, чтобы они бросили линьки и передали об этом остальным унтер-офицерам, то оба боцмана в первое мгновение вытаращили удивленно глаза, видимо, не веря своим ушам: до того это казалось невероятным по тем временам.

Однако твердо знавшие правила дисциплины, они оба почти одновременно отвечали:

– Слушаю, ваше благородие!

Тем не менее и красно-сизое, суровое на вид лицо Федотова с засевшими черными бакенбардами и перешибленным носом, и менее подозрительного оттенка физиономия боцмана второй вахты Никифорова, рыжеусого, с лукавыми маленькими глазами, коренастого человека, выражали собой полнейшее недоумение.

– Поняли? – спросил строго старший офицер.

– Никак нет, ваше благородие! – отвечали разом оба, причем Федотов еще более нахмурился, сдвинув свои густые, нависшие брови, словно бы кем-то обиженный и чем-то недовольный, а Никифоров, как более тонкий дипломат и не знающий за собой, как его товарищ, слабости напиваться на берегу до бесчувствия, еще почтительнее заморгал глазами.

– Кажется, я ясно говорю: бросить линьки. Понял, Федотов?

– Никак нет, ваше благородие.

– А ты, Никифоров?

– Невдомек, ваше благородие, по какой такой причине и как, осмелюсь вам доложить, ваше благородие, боцман... и вдруг без линька...

– Боцман, ваше благородие, и не имеет при себе линька! – повторил и Федотов.

– Не ваше дело рассуждать! Чтобы я их не видал! Слышите!

– Слушаем, ваше благородие.

– И чтобы вы не смели ударить матроса... Ни боже ни!

– Как вам угодно, ваше благородие, но только осмелюсь вам доложить, что это никак невозможно! – пробурчал Федотов.

– Никакого, значит, почтения к боцману не будет, – доложил почтительно Никифоров.

– Ежели примерно, ваше благородие, не вдарь я матроса в зубы, какой же я буду боцман! – угрюмо заметил Федотов.

– И ежели за дело и драться с рассудком, ваше благородие, то, позвольте доложить, что матрос вовсе и не обижается... Напротив, даже... чувствует, что проучен по справедливости! – объяснял Никифоров.

Старший офицер, человек далеко не злой, но очень вспыльчивый, который и сам, случилось, в минуты служебного гнева давал волю рукам, слушал эти объяснения двух старых, отлично знающих свое дело боцманов, подавляя невольную сочувственную улыбку и отлично понимая затруднительность их положения.

В самом деле, приказание это шло вразрез с установившимися и освященными обычаем понятиями о «боцманском праве» и о педагогических приемах матросского обучения. Без этого права, казалось, – и не одним только боцманам в те времена казалось, – немислим был хороший боцман, наводящий страх на матросов.

Но какого бы мнения ни был Андрей Николаевич о капитанском приказании, а оно было для него свято, и необходимо было его исполнить.

И, напуская на себя самый строгий начальнический вид, словно бы желая этим видом прекратить всякие дальнейшие рассуждения, он строго прикрикнул:

– Не драться, и никаких разговоров!

– Есть, ваше благородие! – ответили оба боцмана значительно упавшими, точно сдавленными голосами.

– И если я услышу жалобы, что вы деретесь, с вас будет строго взыскано... Зарубите себе на память...

Оба боцмана слушали эти диковинные речи безмолвные, изумленные и подавленные.

– Особенно ты, Федотов, смотри... не зверствуй... У тебя есть эта привычка непременно искровянить матроса... Я тебя не первый день знаю... Ишь ведь у тебя, у дьявола, ручища! – прибавил старший офицер, бросая взгляд на действительно огромную, жилистую, всю в смоле, руку боцмана, теребившую штанину.

Федотов невольно опустил глаза и, вероятно сам несколько смущенный видом своей руки, стыдливо спрятал ее назад.

– И, кроме того, – уже менее строгим тоном продолжал старший офицер, – не очень-то распускайте свои языки. Вы оба так ругаетесь, что только ахнешь... Откуда только у вас эта гадость берется?... Смотри... остерегайтесь. Капитан этого не любит... Ну, ступайте и передайте всем унтер-офицерам то, что я сказал! – заключил Андрей Николаевич, хорошо сознавая тщету последнего своего приказания.

Окончательно ошалевшие, оба боцмана юркнули из каюты с красными лицами и удивленно выкаченными глазами. Они торопливо прошли кают-компанию, осторожно и на цыпочках ступая по клеенке, и вновь получили дар слова только тогда, когда прибежали на бак.

Но дар слова явился не сразу.

Сперва они подошли к кадке с водой³⁸ и, вынув из штанов свои трубочки и набив их махоркой, молча и неистово сделали несколько затяжек, и уж после того Никифоров, подмигнув глазом, произнес:

– Какова, Пров Захарыч, загвоздка, а?

– Д-д-да, братец ты мой, чудеса, – вымолвил Пров Захарович.

– Ты вот и пойми, в каких это смыслах!

– То-то... невдомек. И где это на военном судне видно, чтобы боцман и... тьфу!..

Федотов только сплюнул и выругался довольно затейливо, однако в дальнейшие объяснения не пустился ввиду присутствия матросов.

– И опять же, не могли сказать слова... Какая такая это новая мода, Захарыч?..

– Как он сам-то удержится... Небось, и он любит загнуть...

³⁸ Кадка с водой стоит для курильщиков нижних чинов. Курить можно только у кадки.

- Не хуже нашего...
- То-то и есть.

Дальнейшие совещания по поводу отданных старшим офицером приказаний происходили в тесном кружке, собравшемся в сторонке. Здесь были все представители так называемой баковой аристократии: оба боцмана, унтер-офицеры, баталер³⁹, подшкипер⁴⁰, артиллерийский вахтер⁴¹, фельдшер и писарь. Линьки, само собой разумеется, надо было бросить. Что же касается до того, чтобы не тронуть матроса, то, несмотря на одобрение этого распоряжения в принципе многими, особенно фельдшером и писарем, большинство нашло, что безусловно исполнить такое приказание решительно невозможно и что – как-никак, а учить иной раз матроса надо, но, конечно, с опаской, не на глазах у начальства, а в тайности, причем, по выражению боцмана Никифорова, бить следовало не зря, а с «рассудком», чтобы не «оказывало» знаков и не вышло каких-нибудь кляуз.

Вопрос о том, чтобы не ругаться, даже и не обсуждался. Он просто встречен был дружным общим смехом.

Все эти решения постановлено было держать в секрете от матросов; но в тот же день по всему корвету уже распространилось известие о том, что боцманам и унтер-офицерам не велено драться, и эта новость была встречена общим сочувствием. Особенно радовались молодые матросы, которым больше других могло попадать от унтер-офицеров. Старые, послужившие, и сами могли постоять за себя.

III

Небольшой «брамсельный»⁴² ветерок, встреченный ночью корветом, дул, как выражаются моряки, прямо в «лоб», то есть был противный, и «Коршун» продолжал идти под парами по неприветливому Финскому заливу при сырой и пронизывающей осенней погоде. По временам моросил дождь и набегала пасмурность. Вахтенные матросы ежились в своих пальтишках, стоя на своих местах, и лясничали (разговаривали) вполголоса между собой, передавая один другому свои делишки и заботы, оставленные только что в Кронштадте. Почти половина команды была из старослужилых, и у каждого из них были в Кронштадте близкие – у кого жена и дети, у кого родные и приятели. Поговорить было о чем и о ком пожалеть.

Капитан то и дело выходил наверх и поднимался на мостик и вместе с старшим штурманом зорко посматривал в бинокль на рассеянные по пути знаки разных отмелей и банок, которыми так богат Финский залив. И он и старший штурман почти всю ночь простояли наверху и только на рассвете легли спать.

Наконец, во втором часу прошли высокий мрачный остров Гогланд и миновали маленький предательский во время туманов Родшер. Там уж прямая, открытая дорога серединой залива в Балтийское море.

- За Гогландом горизонт начинал прочищаться. Ветер свежел и стал заходить.
- Кажется, норд-вест думает установиться. Как вы полагаете, Степан Ильич?

Сухощавый, небольшого роста пожилой человек в стареньком теплом пальто и старой походной фуражке, прошедший большую часть своей полувековой труженической жизни в плаваниях, всегда ревнивый и добросовестный в исполнении своего долга и аккуратный педант, какими обыкновенно бывали прежние штурмана, внимательно посмотрел на горизонт, взглянул на бежавшие по небу кучевые темные облака, потянул как будто воздух своим длинно-

³⁹ Заведующий провизией и раздачей водки.

⁴⁰ Заведующий каютой, в которой хранятся разные запасы судового снабжения.

⁴¹ Заведующий крыйт-камерой (пороховым погребом), оружием и снарядами.

⁴² Слабый ветер, позволяющий нести брамселя – третьи снизу прямые паруса. – *Ред.*

тым красным носом с желтым пятном, напоминавшим о том, как Степан Ильич отморозил себе лицо в снежный шторм у берегов Камчатки еще в то время, когда красота носа могла иметь для него значение, и проговорил:

– Надо быть, что так-с. И самое время для норд-веста, Василий Федорыч. Ишь, подыгрывает.

Прошло еще с полчаса. Ветер дул из норд-вестовой четверти и был попутным для корвета.

Тогда капитан обратился к вахтенному лейтенанту и приказал ставить паруса.

– Свистать всех наверх паруса ставить! – скомандовал офицер звучным веселым тенорком.

Вахтенный боцман Федотов подбежал к люку жилой палубы, мастерски засвистал в дудку и рявкнул во всю силу своих могучих легких голосом, который разнесся по всей жилой палубе:

– Пошел все наверх паруса ставить. Живо, ребята... Бегом!..

И, разумеется, окончил свою команду словами, ничего не имевшими общего с вызовом наверх.

Тем временем сигнальщик, как полоумный, вбежал в кают-компанию и затем в гардемаринскую каюту с извещением о вызове всех наверх, и все стремительно полетели на палубу.

Старший офицер, как распорядитель аврала, поднялся на мостик, сменив вахтенного начальника, который, по расписанию, должен был находиться у своей мачты.

Словно бешеные, бросились со всех ног матросы, бывшие внизу, лишь только раздался голос боцмана. Он только напрасно их поощрял (и более по привычке, чем по необходимости) разными энергичными словечками своей неистощимой по части ругательств фантазии.

Не прошло и минуты, как весь экипаж корвета, исключая вахтенных машинистов и кочегаров да коков (поваров), был наверху на своих местах.

Мертвая тишина воцарилась на палубе.

– Марсовые к вантам! – раздалась звучная команда старшего офицера.

Несколько десятков марсовых – цвет команды, люди все здоровые, сильные и лихие – стало у ванта, веревочной лестницы, идущей по обе стороны каждой мачты.

– По марсам и салингам!

С этой командой матросы ринулись по вантам, бегом поднимаясь наверх.

Когда все уже были на марсах и салингах, старший офицер скомандовал:

– По реям!..

И все, с ноковыми⁴³ впереди, разбежались по реям, держась одной рукой за приподнятые рейки, служащие вроде перил, словно по гладкому полу и, стоя, перегнувшись, на страшной высоте, над бездной моря, стали делать свое обычное матросское трудное дело.

Володя, стоявший на мостике сзади капитана, в первые минуты с чувством страха поглядывал на эти слегка покачивающиеся вместе с корветом рей, на которых, словно муравьи, чернели перегнувшиеся люди. Ему казалось, что вот-вот кто-нибудь сорвется – и если с конца, то упадет в море, а если с середины, то на смерть разобьется на палубе. Он слышал – бывали такие примеры. И в голове его невольно проносились мысли о той ежеминутной опасности, которой подвергаются матросы. Если теперь при тихой погоде и незначительной качке ему казалось их положение опасным, то каково оно во время бури, когда рей стремительно качаются, делая страшные размахи. Каково работать при дьявольском ветре? Каково устоять там?

И он, еще совсем неопытный моряк, преувеличивающий опасность, решил непременно как-нибудь самому сходить на рею и как-то невольно проникнулся еще большей любовью и большим уважением к матросам.

⁴³ Ноковые матросы, работающие на самых концах рей.

– Молодцами работают, Андрей Николаевич, – промолвил капитан, все время не спускавший глаз с рей.

– Хорошие марсовые, – весело ответил старший офицер, видимо довольный и похвалой капитана, и тем, что они действительно «молодцами работали».

– Готово, – крикнули с марсов.

– Отдавай! С реев долой! Пошел марса-шкоты⁴⁴! Фок⁴⁵ и грот⁴⁶ садить!..

Топот матросских ног да легкий шум веревок нарушали тишину работ. Изредка, впрочем, когда боцмана увлекались, с бака долетали энергические словечки, но они еще не расточались с особенной щедростью ввиду того, что все шло хорошо.

Но вот какая-то снасть «заела» (не шла) на баке, и кливер что-то не поднимался. Прошла минута, долгая минута, казавшаяся старшему офицеру вечностью, во время которой на баке ругань шла crescendo⁴⁷. Однако Андрей Николаевич крепился и только простирали руки на бак. Но, наконец, не выдержал и сам понесся туда, разрешив себя от долго сдерживаемого желания выругаться..

А капитан, слушая все эти словечки, серьезный и сдержанный, стоял на мостике и только морщился. Все, слава богу, было исправлено – кливер с шумом взвился.

Не прошло и пяти минут с момента вызова всех наверх, как «Коршун» весь покрылся парусами и, словно гигантская белоснежная птица, бесшумно понесся, слегка накренившись и с тихим гулом рассекая своим острым носом воду, которая рассыпалась алмазной пылью, разбиваясь о его «скулы».

Машина была застопорена. Винт поднят из воды, чтобы не мешать ходу, и укреплен в так называемом винтовом колодце.

Аврал был кончен. Подвахтенных просвистали вниз, и вахтенный офицер снова занял свое место на мостике.

– К вечеру возьмите у марселей два рифа, – сказал капитан, обращаясь к вахтенному.

– Есть!

– Того и гляди, к ночи засвежеет, Степан Ильич?..

– Не мудрено и засвежеет, – отвечал старший штурман.

И оба они спустились вниз и разошлись по своим каютам.

IV

Ах, как не хотелось вставать и расставаться с теплой койкой, чтобы идти на вахту!

Володя только что разоспался, и ему снились сладкие сны, когда он почувствовал, что его кто-то дергает за ногу. Он отодвинул ее подальше и повернулся на другой бок. Но не тут-то было, какой-то дерзкий человек еще решительнее дернул ногу.

– А?.. Что?.. – произнес в полусне Володя, не открывая вполне глаз и скорей чувствуя, чем видя, перед собой тусклый свет фонаря.

– Ваше благородие... Владимир Николаевич! Вставайте... На вахту пора! – говорил чей-то мягкий голос.

Володя открыл глаза, но еще не совсем освободился от чар сна. Еще мозг его был под их впечатлением, и он переживал последние мгновения сновидений, унесших его далеко-далеко из этой маленькой каютки.

⁴⁴ Шкоты – веревки, прикрепленные к углу парусов и растягивающие их. Эти веревки принимают название того паруса, к которому прикреплены, например, брам-шкот, марса-шкот, бизань-шкот и т.д.

⁴⁵ Фок – самый нижний парус на фок-мачте, привязывается к фока-рее.

⁴⁶ Грот – такой же на грот-мачте.

⁴⁷ С возрастающей силой (итал.).

– Без десяти минут полночь! – тихим голосом говорил Ворсунька, чтобы не разбудить спящего батюшку, зажигая свечу в кенкетке, висевшей почти у самой койки. – Опоздаете на вахту.

Сон сразу исчез, и Володя, вспомнив, какое он может совершить преступление, опоздавши на вахту, соскочил с койки и, вздрагивая от холода, стал одеваться с нервной стремительностью человека, внезапно застигнутого пожаром.

– Что, не опоздаю?.. Много до двенадцати? – спрашивал он.

– Да вы еще успеете, ваше благородие. Должно, еще более пяти минут.

Володя посмотрел на свои часы и увидел, что остается еще целых десять минут. О, господа, он отлично мог бы проспать по крайней мере пять минут, если бы его не разбудил так рано Ворсунька.

И ему бесконечно стало жалко этих недоспанных минут, и он не то обиженно, не то раздраженно сказал молодому белобрысому вестовому:

– За что ты меня так рано поднял? За что?

Должно быть, и Ворсуньке стало жаль молодого барина, потому что он участливо проговорил:

– А вы, ваше благородие, доспите на диване в кают-компании, одевшись... Как будет восемь склянок, я вас побужу...

– Одевшись?! Какой уж теперь сон! – упрекнул Володя.

– Напредки я буду за пять минут вас будить, ваше благородие... А то, признаться, я не знал, чижало ли вы встаете... Боялся, как бы не заругали, что поздно побудил... Виноват, ваше благородие... Не извольте сердиться.

– Да что ты, голубчик... разве я сержусь? Я, право, нисколько не сержусь, – улыбался Володя, глядя на заспанное лицо вестового. – И ты напрасно встал для меня... Вперед пусть меня будит рассыльный с вахты...

– А помочь одеться?

– Я и сам умею... Что, холодно наверху?

– Пронзительно, ваше благородие... Пожалуйте теплое пальто...

– Однако покачивает! – заметил Володя, расставив для устойчивости ноги.

– Есть-таки качки.

– А тебя не укачивает?

– Мутит, ваше благородие... душу будто сосет...

– Ступай, брат, ложись лучше. А к качке можно привыкнуть.

– Надо, видно, привыкнуть. Ничего не поделаешь! – промолвил, улыбаясь, Ворсунька, уходя вон.

В жилой, освещенной несколькими фонарями палубе, в тесном ряду подвешенных на крючки парусиновых коек, спали матросы. Раздавался звучный храп на все лады. Несмотря на пропущенные в люки виндзейли⁴⁸, Володю так и охватило тяжелым крепким запахом. Пахло людьми, сыростью и смолой.

Осторожно проходя между койками, чтобы не задеть кого-нибудь, Ашанин пробрался в кают-компанию, чтобы там досидеть свои пять минут.

В кают-компании ни души. Чуть-чуть покачивается большая лампа над столом, и слегка поскрипывают от качки деревянные переборки. Сквозь жалюзи дверей слышатся порой сонные звуки спящих офицеров, да в приоткрытый люк доносится характерный тихий свист ветра в снастях, и льется струя холодного сырого воздуха.

⁴⁸ *Виндзейль* – длинная парусиновая труба с металлическими или деревянными обручами. Ставится в жилые помещения или в трюм вместо вентилятора.

Сверху раздаются мерные удары колокола. Раз... два... три... Бьет восемь ударов, и с последним ударом колокола Володя выбегает наверх, сталкиваясь на трапе со своим вахтенным начальником, мичманом Лопатыным.

– Молодцом, Ашанин... Аккуратны! – говорит на ходу мичман и бежит на мостик сменить вахтенного офицера, зная, как и все моряки, что опоздать со сменой хотя бы минуту-другую считается среди моряков почти что преступлением.

Иззябший, продрогший на ветру первый лейтенант, стоявший вахту с 8 до полуночи, радостно встречает мичмана и начинает сдавать вахту.

– Курс такой-то... Последний ход 8 узлов... Паруса такие-то... Огни в исправности... Спокойной вахты! Дождь, слава богу, перестал, Василий Васильевич!.. – весело говорит закутанная в дождевик поверх пальто высокая плотная фигура лейтенанта в нахлобученной на голове зюйдвестке⁴⁹ и быстро спускается вниз, чтобы поскорее раздеться и броситься в койку под теплое одеяло, а там пусть наверху воет ветер.

Слегка балансируя по палубе корвета, который довольно плавно поднимался и опускался на относительно спокойной качке, Ашанин торопливо, в несколько возбужденном состоянии юного моряка, идущего на свою первую серьезную вахту, шел на бак сменить подвахтенного гардемарина.

В темноте он его не сразу нашел и окликнул.

– Очень рад вас видеть, Ашанин! Фор-марсель в два рифа, фок, кливер и стаксель... любуйтесь ими четыре часа... Огни в исправности... Часовые не спят... Погода, как видите, собачья... Ну, прощайте... Ужасно спать хочется!

И, проговорив эти слова, гардемарин быстро скрылся в темноте. Зычный голос вахтенного боцмана, прокричавшего в жилой палубе «Первая вахта на вахту!», уже разбудил спавших матросов.

Охая, зевая и крестясь, они быстро спрыгивали с коек, одевались, натягивая поверх теплых шерстяных рубах свои куцые пальтишки, повязывали шеи гарусными шарфами и, перекидываясь словами, поднимались наверх на смену товарищам, уже предвкушавшим наслаждение койки.

Боцман Федотов, вступавший на вахту, сердитый со сна, сыпал ругательствами, поторапливая запоздавших матросов своей вахты, и, поднявшись наверх, проверил людей, назначил смены часовых на баке, послал дежурных марсовых на марсы, осмотрел огни и заходил по левой стороне бака.

И Володя шагал по правой стороне, полный горделивого сознания, что и он в некотором роде страж безопасности «Коршуна». Он добросовестно и слишком часто подходил к закутанным фигурам часовых, сидевших на носу и продуваемых ветром, чтобы убедиться, что они не спят, перегибался через борт и смотрел, хорошо ли горят огни, всматривался на марсель и кливера – не полощут ли.

Но часовые, разумеется, не спали; огни ярко горели красным и зеленым цветом, и паруса стояли хорошо.

И ему точно было обидно, что нечего было делать, не на чем проявить свою бдительность.

«Разве вперед смотреть?», – думал он, и ему казалось, что он должен это сделать. Ведь часовые могут задремать или просто так-таки прозевать огонь встречного судна, и корвет вдруг врежется в его бок... Он, Володя Ашанин, обязан предупредить такое несчастье... И ему хотелось быть таким спасителем. И хоть он никому ничего не скажет, но все узнают, что это он первый увидел огонь, и капитан поблагодарит его.

⁴⁹ Так называются непромокаемые шляпы моряков.

И он остановился, прислонившись к борту у самого носа, и напряженно вглядывался в мрак осенней ночи, среди которого бесшумно двигался корвет, казавшийся теперь какой-то фантастической гигантской птицей.

На носу «поддавало» сильней, и он вздрагивал с легким скрипом, поднимаясь из волны. Свежий ветер резал лицо своим ледяным дыханием и продувал насквозь. Молодой моряк ежился от холода, но стойчески стоял на своем добровольно мученическом посту, напрягая свое зрение...

Ему то и дело мерещились огни то справа, то слева, то силуэты судов, то казалось, будто совсем близко впереди выглядывают из моря камни. И он беспокоил часовых вопросами: не видят ли они чего-нибудь? Те, конечно, ничего не видали, и Володя, смущенный, отходил, убеждаясь, что у него галлюцинация зрения. К концу вахты уж он свыкся с темнотой и, менее возбужденный, уже не видал ни воображаемых огоньков, ни камней, ни судов, и не без некоторого сожаления убедился, что ему спасителем не быть, а надо просто исполнять свое маленькое дело и выстаивать вахту, и что и без него безопасность корвета зорко сторожится там, на мостике, где вырисовываются темные фигуры вахтенного начальника, младшего штурмана и старшего офицера.

Последний нет-нет да и появлялся на мостике, возбуждая досадливое чувство в самолюбивом молодом мичмане.

Еще бы!

Он, сделавший уже три летние кампании и поэтому горделиво считавший себя опытным моряком, был несколько обижен. Эти появления старшего офицера без всякой нужды казались недоверием к его знанию морского дела и его бдительности. Еще если бы «ревело» или корвет проходил опасные места, он понял бы эти появления, а теперь...

И мичман Лопатин, обыкновенно жизнерадостный, веселый и добродушный, с затаенным неудовольствием посматривал на маленькую фигуру старшего офицера, который, по мнению мичмана, мог бы спокойно себе спать вместо того, чтобы «торчать» наверху. Небось, капитан не «торчит», когда не нужно!..

А старший офицер, недоверчивый, еще не знавший хорошо офицеров, действительно не совсем доверял молодому мичману, потому и выходил наверх, вскакивая с постели, на которой спал одетым.

Но не желая оскорблять щекотливое морское самолюбие мичмана, он, поднимаясь на мостик, как бы жалуясь, говорил:

– Совсем не спится что-то сегодня... Вот вышел проветриться.

– Удивительно, что не спится, Андрей Николаевич, – иронически отвечал мичман. – Кажется, можно бы спать... Ветер ровный... установился... идем себе хорошо... Впереди никаких мелей нет... Будьте спокойны, Андрей Николаевич... Я не первый день на вахте стою, – несколько обиженно прибавил вахтенный офицер.

– Что вы... что вы, Василий Васильевич... Я вовсе не потому... Просто бессонница! – деликатно сочинял старший офицер, которому смертельно хотелось спать.

«Эка врет, – подумал мичман и мысленно проговорил: – Ну, что же... торчи здесь на ветру, коли ты не доверяешь».

Убедившись, наконец, после двух-трех появлений с целью «проветриться» среди ночи, что у молодого мичмана все исправно, что паруса стоят хорошо, что реи правильно обрасоплены⁵⁰ и, главное, что ветер не свежеет, старший офицер часу во втором решил идти спать.

Перед уходом он сказал:

– Если засвежеет, пошлите разбудить меня, Василий Васильевич. А капитана без особенной надобности не будите. Он вчера всю ночь не спал.

⁵⁰ *Обрасопить* – повернуть реи так, чтобы паруса стояли наивыгоднейшим образом относительно ветра.

– Есть! – отвечал мичман.

– Да, знаете ли, вперед хорошенько посматривайте... как бы того... огни судов...

– За это не беспокойтесь.

– И на горизонт вглядывайтесь... Того и гляди, шквал наскочит...

– Не прозеваю... не бойтесь...

– Я не боюсь... я так позволил себе вам напомнить... До свидания, Василий Васильевич...

– Спокойной ночи, Андрей Николаевич!

Старший офицер спустился в свою каюту, хотел было раздеться, но не разделся и, как был – в пальто и в высоких сапогах, бросился в койку и тотчас же заснул тем тревожным и чутким сном, которым обыкновенно спят капитаны и старшие офицеры в море, всегда готовые выскочить наверх при первой тревоге.

– Вперед смотреть, – весело и молодежато во всю силу своих молодых и могучих легких крикнул мичман Лопатин вслед за уходом старшего офицера, как будто выражая этим окриком и свое удовольствие остаться одному ответственным за безопасность корвета и всех его обитателей, и свое не дремавшее внимание лихого моряка, у которого ухо держи востро.

– Есть! Смо-о-о-трим! – тотчас же ответили протяжными голосами и в одно время оба часовые на баке и вновь продолжали свою тихую беседу, которой они коротали свое часовое дежурство на часах: рассказывали сказки друг другу, вспоминали про Кронштадт или про «свой места».

Володя к концу вахты уже более не беспокоил часовых так часто, как прежде, особенно после того, как услышал замечание, сделанное на его счет каким-то матросом, не заметившим в темноте, что Ашанин стоит тут же около.

Чей-то голос говорил:

– Ишь ведь смола этот кадет... так и приставал. Думает, что без него люди не справляют службы. То и дело подходил, когда мы с Ивановым сидели на часах... Не заснули ли, мол... И все, братцы, ему огни в глазах мерещились... Шалый какой-то.

– Это он так, с непривычки... Молоденький... глупый еще... думает: на вахте егозить надо... А барчук, должно, хороший... Ворсунька, евойный вестовой, сказывал, что добер и простой... нашим братом не брезговает.

Володя совсем смутился и незаметно отошел, дав себе слово больше не «егозить», как выразился матрос про него.

И он ходил снова, по временам останавливаясь у какой-нибудь кучки матросов, которые, притулившись у борта или у мачты, вполголоса лясничали. Присутствие юнца-кадета не останавливало бесед, иногда довольно свободно критиковавших господ офицеров. И Володя слушал эти беседы и только удивлялся их добродушному юмору и меткости и образности определений и прозвищ.

– А что, барин, правду сказывают, будто капитан приказал боцманам бросить линьки и не лезть в зубы? – спросил один из кучки баковых, сидевших у крайнего орудия, к которому подошел Володя.

– Правда...

– Ишь, ведь ты! – раздались несколько удивленные восклицания.

– Я вам говорил, братцы! – произнес знакомый голос Бастрюкова. – Одно слово: голубь. Голубь и есть!

– Да-да... Такого командира по всему флоту не найти... Бережет он матроса, дай бог ему счастья!

– Но только – и то сказать – нельзя боцману или офицеру иной раз нашего брата не съездить, – авторитетно заметил чей-то басок, сиплый и надтреснутый.

Володя горячо протестовал и даже сказал по этому поводу убедительную, по его мнению, маленькую речь.

Казалось, судя по глубокому молчанию, все слушали с одобрением молодого барина. Однако, когда он кончил, тот же басок не без тонкой иронии в голосе проговорил:

– Так-то оно так, ваше благородие, а все-таки, если не здря, а за дело, никак без этого невозможно. Я вот, барин, пятнадцать лет во флоте околачиваюсь, всего навидался, но чтобы без боя – не видал... И никак без него невозможно! – тоном, полным глубокого убеждения, повторил старый матрос.

– Трудно, что и говорить! – поддержал кто-то.

– И вовсе даже можно! Барин правильно говорит! – заступился за Володю Бастряков. – Это, ваше благородие, Аксютин так мелет потому, что его самого драли как Сидорову козу... У него и три зуба вышиблено от чужого, можно сказать, зверства.

– В старину, небось, учивали!.. – снова заметил басок и, казалось, без всякого протеста на виновников потери его зубов.

– То-то учивали и людей истязали, братец ты мой. Разве это по-божески? Разве от этого самого наш брат матрос не терпел и не приходил в отчаянность?.. А, по-моему, ежели с матросом по-хорошему, так ты из него хоть веревки вей... И был, братцы мои, на фрегате «Святой Егорий» такой случай, как одного самого отчаянного, можно сказать, матроса сделали человеком от доброго слова... При мне дело было...

– Да ты расскажи, Иваныч, как это вышло.

– А вышло, братцы, взаправду чудное дело... А вы, барин, что ж это зря на ветру стоите? Не угодно ли за пушку?.. Тут теплей, – обратился Бастряков к Ашанину, заметив, что тот не уходит.

В кучке произошло движение, чтобы дать место Володе.

Но он, как подвахтенный, не счел возможным принять предложение и, поблагодарив матросов, остался на своем месте, на котором можно было и посматривать вперед, и видеть, что делается на баке, и в то же время слушать этого необыкновенно симпатичного Бастрякова.

И тот продолжал:

– Служил, братцы, у нас на фрегате один матросик – Егорка Кирюшкин... Нечего говорить, матрос как есть форменный, первый, можно сказать, матрос по своему делу... штык-болтным⁵¹ на фор-марса-рее и за гребным на капитанском вельботе был... Все понимали, что бесстрашный матросик: куда хочешь пошли – пойдет. Но только, скажу я вам, человек он был самый что ни на есть отчаянный... вроде как быдто пропащий...

– Пьянствовал? – спросил кто-то.

– Это что – пьянствовал!.. Всякий матрос, ежели на берегу, любит погулять, и нет еще в том большого греха... А он, кроме того, что пьянствовал да пропивал, бывало, все казенные вещи, еще и на руку был нечист... Попадался не раз... А кроме того, еще и дерзничал...

– Ишь ты... Значит, в ем отчаянность эта самая была...

– То-то и есть... Ну и драли же его-таки довольно часто, драли, можно сказать, до бесчувствия... Жалели хорошего матроса судить судом и в арестантские роты отдавать и, значит, полагали выбить из него всю его дурь жестоким боем, братцы... Случалось, линьков по триста ему закатывали, замертво в лазарет выносили с изрытой спиной... Каких только мучений не принимал... Жалеешь и только диву даешься, как это человек выносит...

– Шкура наша не господская... выносливая, – вставил опять басок.

– И, что ж, не помогала ему эта самая выучка? – спросил кто-то.

– То-то и есть. Отлежится в лазарете и опять за свои дела... да еще куражится: меня, говорит, никакой бой не возьмет... Я, говорит, им покажу, каков я есть! Это он про капитана да

⁵¹ Матрос, который ходит на нок (оконечность реи) и вяжет угол паруса (штык-болт).

про старшего офицера... Хорошо. А старшим офицером у нас в те поры был капитан-лейтенант Барабанов – может, слышал, Аксютин?

– Как про такого арестанта не слышать... Зверь был известный... В резерв его нонче увольнили.

– Ну, вот, этот самый Барабанов, как услышал, что Егорка хвастает, и говорит – тоже упрямый человек был: «Посмотрим, кто кого; я, говорит, его, подлеца, исправлю, я, говорит, и не таких покорял...» И стал он с этого самого дня Кирюшкина вовсе изводить... Каждый день при себе драл на баке как Сидорову козу.

– Ишь ты, что выдумал!

Володя слушал в волнении, полный негодования. Он не мог себе и представить, чтобы могли быть такие ужасные вещи.

– И хоть бы что, – продолжал Бастрюков, – Егорка только приходил в большую отчаянность... Наконец, братцы вы мои, видит Барабанов, что нет с Кирюшкиным никакого сладу и что допорет он его до смерти, пожалуй, еще в ответе будет, – адмирал у нас на эскадре законный человек был, – пошел к капитану и докладывает: «Так мол, и так. Никак не могу я этого мерзавца исправить; дозволейте, говорит, по форме арестантом сделать, потому, говорит, совсем беспардонный человек»...

– Да... Вовсе отчаянный...

– И как он только еще жив остался!..

– И до сих пор жив... Только грудью слаб... Он в бессрочные вышел и в Рамбове сторожем на даче. Я его летом ветрел. А быть бы ему арестантом, если бы этого самого Барабанова не сменили в те поры и не назначили к нам старшим офицером Ивана Иваныча Буткова... Он теперь в адмиралы вышел. Человек он был справедливый и с большим рассудком... «Повремените, – это он капитана просит, – такого лихого матроса в арестанты назначать; я, говорит, быть может, его исправлю». А капитан только махнул рукой: «Не исправите, мол... Уж его всячески исправляли и ничего не вышло, а впрочем, можно повременить; действительно, этот пьяница, грубиян и вор – преотличный матрос». Тоже, значит, и в капитане морская душа была. Любил он хороших матросов и многое им прощал! – пояснил Бастрюков. – И ведь как вы думаете, братцы, ведь совсем другим человеком сделал новый старший офицер этого самого Егорку... Дивились мы тогда... А все потому, что душу человеческую понял и пожалел матроса...

Бастрюков на минуту смолк.

– Как же он такого отчаянного исправил? Чудно что-то, Иваныч, – нетерпеливо спросил кто-то.

– Чудно и есть, а я вам верно говорю... Словом добрым проник, значит, человека. Призвал это он Кирюшкина к себе в каюту и говорит: «Так и так, брось, братец ты мой, свою дурость и служи как следует. Тебя в арестантские роты хотели отдать, но я поручился за тебя, что ты станешь хорошим матросом. Уж ты, говорит, меня, Кирюшкин, оправдай... Ступай, говорит, и подумай, что я сказал, и верь, что я от доброго сердца, жалеючи тебя». Только всего и сказал, а как пришел это Кирюшкин от старшего офицера на бак, смотрим – чудеса: совсем не куражится и какой-то в лице другой стал... После уж он мне объяснил, как с ним, можно сказать, первый раз во всю жизнь по-доброму заговорили, а в те поры, как его стали спрашивать, что ему старший офицер отчитывал, Егорка ничего не сказывал и ровно какой-то потерянный целый день ходил. Ну, думаем, видно, Егорку застрашал арестантскими ротами, а не то Сибирью новый-то старший офицер... Ладно. В скорости вышли мы из Кронштадта и пришли в Ревель. На другой день велено было нашей вахте собираться на берег – отпускали, значит, гулять. Одеваемся мы, значит, в новые рубахи, смотрим – боцман приказывает и Егорке ехать. А тот стоит и вовсе ошалел, во все глаза смотрит, потому его почти никогда не отпускали на берег... знали, что пропьет с себя все или что-нибудь скрадет, что плохо лежит. «Ты что зенки вертишь? – говорит боцман. – Тебя, такой-сякой, старший офицер велел отпустить на берег.

Видно, еще не знает, каков ты есть». «Старший офицер?» – вымолвил только Егорка. – «А ты думал, я за тебя просил?.. Я, прямо скажу, просил, чтобы тебя не пускали, вот что я просил, но только старший офицер приказал... Одевайся... И будут же тебя пороть завтра, подлеца. Опять что-нибудь да выкинешь, дьявол!» Однако Кирюшкин ничего не выкинул и вернулся на фрегат, хотя и здорово треснувши, но с целыми вещами. Мы только диву давались. А старший офицер на утро, во время уборки, подошел к нему и говорит: «Спасибо, Кирюшкин, оправдал ты меня. Надеюсь и впредь». Егорка молчит, только лицом весь красный стал... И с тех пор шабаш... Ни воровства, ни озорства – совсем путевый стал.

– Совесть, значит, зазрила...

– То-то оно и есть... И доброе слово в душу вошло... Небось, оно, доброе-то слово, скорее войдет, чем дурное.

– Что ж он, пить бросил?

– Пить – пил, ежели на берегу, но только с рассудком. А на другой год старший офицер его в старшие марсовые произвел, а когда в командиры вышел, – к себе на судно взял... И до сих пор его не оставил: Кирюшкин на евойной даче сторожем. Вот оно что доброе слово делает... А ты говоришь, никак невозможно! – заключил Бастрюков.

Наступило молчание. Все притихли под впечатлением рассказа.

– А и холодно ж, братцы. Разве пойти покурить! – промолвил, наконец, Бастрюков и, выйдя из кучки, подошел к кадке и закурил трубочку.

Володя снова заходил, взволнованный рассказом матроса. И сам этот пожилой матрос с серьгой в ухе, с добрыми и веселыми глазами и с своей философией еще милее стал Ашанину, и он решил познакомиться с ним поближе.

Пробило шесть склянок. Еще оставалось две. Володя ужасно устал ходить и прислонился к борту. Но только что он выбрал удобное положение, как почувствовал, что вот-вот и он сейчас заснет. Дрема так и звала его в свои объятия. У борта за ветром так было хорошо... ветер не продувал... И он уже невольно стал клевать носом и уж, кажется, минуту-другую был в полусознательном состоянии, как вдруг мысль, что он на вахте и заснул, заставила его вздрогнуть и поскорее уйти от предательского борта.

«Срам какой... Хорошо, что никто не видал!», – думает он и снова начинает ходить и нетерпеливо ждать конца вахты. Спать хочется нестерпимо, и он завидует матросам, которые сладко дремлют около своих снастей. Соблазн опять прислониться к борту и подремать хоть минутку-другую ужасно велик, но он храбро выдерживает искушение и, словно бы чтоб наказать себя, лезет осматривать огни.

– Напрасно, барин, беспокоитесь, я только что осматривал, – говорит боцман Федотов, который, как маятник, ходил взад и вперед и зорко посматривал на паруса.

– А часовые смотрят?

– Смотрят...

– Кажется, кливер будто полощет?

– Это так только оказывает. И кливер стоит форменно, не извольте сумлеваться, – говорит боцман с снисходительной почтительностью.

– Вперед смотреть! – снова раздается звучный и веселый голос мичмана.

– Есть! Смотрим! – снова отвечают часовые.

Море черно. Черно и кругом на горизонте. Черно и на небе, покрытом облаками. А корвет, покачиваясь и поклевывая носом, бежит себе, рассекая эту непроглядную тьму, подгоняемый ровным свежим ветром, узлов по восьми. На корвете тишина. Только слышатся свист и подывание ветра в снастях да тихий гул моря и всплески его о борта корвета.

Холодно, сыро и неприветно кругом.

И Володе, как нарочно, в эти минуты представляется тепло и уют их квартиры на Офицерской. Счастливицы! Они спят теперь в мягких постелях, под теплыми одеялами, в сухих, натопленных комнатах.

– Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь...

Почти у самых его ушей пробивает семь ударов.

Слава богу, осталось всего полчаса.

Но зато как бесконечно долго тянутся эти полчаса для моряков на ночных вахтах, да еще таких холодных и неприветных. И чем ближе конец вахты, тем нетерпеливей ожидание. Последние минуты кажутся часами.

Володя то и дело подходил к фонарю, висевшему около кадки с водой, впереди фок-мачты, взглядывал на часы. Стрелка, показалось ему, почти не двигалась.

– Восемь бить! – раздался веселый голос с мостика.

– Наконец-то! – невольно проговорил вслух Володя.

Радостно отдавались эти удары в его сердце и далеко не так радостно для матросов: они стояли шестичасовые вахты, и смена им была в шесть часов утра. Да и подвахтенным оставалось недолго спать. В пять часов вся команда вставала и должна была после утренней молитвы и чая начать обычную утреннюю чистку и уборку корвета.

С последним ударом колокола к Володе подошел сменяющий его гардемарин.

Ашанин торопливо сдал вахту и почти побежал вниз в свою каюту. Быстро раздевшись, он вскочил в койку, юркнул под одеяло и, согревшийся, охваченный чувством удовлетворенности тепла и отдыха, вполне довольный и счастливый, начал засыпать.

«Какой славный этот Бастрюков и какие ужасные звери бывали люди... Я буду любить матросов...» – подумал он сознательно в последний раз и заснул.

* * *

Через два дня корвет входил на Копенгагенский рейд, и вскоре после того, как отдан был якорь, Володя в большой компании съехал на берег, одетый в штатское платье.

Он первый раз в жизни вступил на чужую землю, и все его поражало и пленяло своей новизной. Вместе с другими он осматривал город, чистенький и довольно красивый, вечер провел в загородном саду вместе с несколькими гардемаринами и, вернувшись на корвет, стал писать длиннейшее письмо домой.

На другой день из консульства привезли целую пачку газет и писем, в числе которых одно, очень толстое, было и для Володи.

Он пошел в каюту, чтобы читать письмо без свидетелей, и, обрадованный, что сожитель его в кают-компани, стал глотать эти милые листки, исписанные матерью, сестрой и братом, с восторженной радостью и по временам вытирая невольно навертывавшиеся слезы.

В одном из листков была и лаконичная записка дяди-адмирала: «Ждем известий. Здоров ли? Не укачивает ли тебя?»

– Ах, славный дядюшка! – воскликнул Володя и снова начал перечитывать родные весточки не «начерно», а «набело».

Глава четвертая. Первая трепка

I

По выходе, после двух дней стоянки, из Копенгагена ветер был все дни противный, а потому «Коршун» прошел под парами и узкий Зунд, и богатый мелями Каттегат и Скагерак, этот неприветливый и нелюбимый моряками пролив между южным берегом Норвегии и северо-западной частью Ютландии, известный своими неправильными течениями, бурными погодами и частыми крушениями судов, особенно парусных, сносимых то к скалистым норвежским берегам, то к низким, окруженным отмелями берегам Ютландии.

К вечеру третьего дня «Коршун» вошел в Немецкое⁵² море, тоже не особенно гостеприимное, с его дьявольским, неправильным волнением и частыми свежими ветрами, доходящими до степени шторма.

Немецкое море сразу же дало себя знать изрядной и, главное, неправильной качкой. Поставили паруса и на ночь взяли три рифа у марселей и по одному рифу у нижних парусов.

Ветер все свежел, и барометр падал.

Капитан, не спавший две ночи и отдыхавший днем урывками, готовился, кажется, не спать и третью ночь. Серьезный, с истомленным лицом, он зорко всматривался вокруг и приказал старшему офицеру осмотреть, хорошо ли закреплены орудия и все ли крепко закреплено.

– К ночи, верно, нас потреплет! – прибавил он.

И старший штурман Степан Ильич был, кажется, того же мнения и, спустившись в кают-компанию, приказал вестовым, чтобы ночью был чай. Во время штормов Степан Ильич любил сбегать вниз и выпить, как он выражался, «стакашку» с некоторым количеством рома.

– Что, Степан Ильич, – спрашивали пожилого штурмана в кают-компании, – разве того... в ночную?

– Видно, придется.

– Трепанет, что ли?

– Немецкое море уж такое, можно сказать, свинское... часто треплет, а главное – качка в нем преподлейшая... Приготовьтесь, господа. Здесь самых выносливых к качке укачивает.

– Пока ничего себе... валяет, да не очень.

– Да теперь и качки-то почти никакой нет. Какая это качка! – говорил штурман, хотя корвет изрядно-таки покачивало, дергая во все стороны. – Вот к ночи, что бог даст. Тогда узнаете качку Немецкого моря.

Володя, только что сменившийся с вахты, пил чай в гардемаринской каюте. У многих молодых людей, первый раз испытывавших такую беспокойную качку, уже бледнели лица, и многие уже улеглись в койки. И Ашанин, не чувствовавший морской болезни, стоя наверху, на воздухе, теперь ощущал какую-то неприятную тяжесть в голове и подсасывание под ложечкой. Однако он храбрился и выпил стакан чаю, хотя он ему вдруг и показался противен, и скоро ушел к себе в каюту и лег в койке. Лежа, он уже не испытывал никакой неприятности и скоро заснул.

⁵² Устаревшее название Северного моря. – *Ред.*

II

Проснулся он от сильной боли, ударившись лбом о переборку, и первое мгновение изумленно озирался, не понимая, в чем дело. Но тотчас же его снова дернуло на койке, и он должен был схватиться рукой за стойку, чтобы не упасть. Корвет дергало во все стороны, то вперед, то назад, то стремительно кидало на один бок, то на другой. Сквозь наглухо задраенный иллюминатор в каюту проникал мутноватый полусвет. Иллюминатор то выходил из воды, и крупные капли сыпались с него, то бешено погружался в пенящуюся воду, и тогда в каюте становилось темно. Эта бездонная пропасть бушующего, засевшего моря, бьющегося о бока корвета, отделялась только стеклом иллюминатора да несколькими досками корабельной обшивки. Оно было близко, страшно близко, это море, и здесь, сквозь стекло иллюминатора, казалось каким-то жутким и страшным водяным гробом.

И чувство беспомощности и сиротливости невольно охватывало юношу в этой маленькой полутемной каюте, с раздражающим душу скрипом переборок и бимсов⁵³. Здесь положение казалось несравненно серьезнее, чем было в действительности, и адская качка наводила на мрачные мысли юношу, испытывавшего первый раз в жизни серьезную трепку. При этих стремительных размахах боковой качки, когда корвет ложился совсем набок и голова Володи была на горе, а ноги висели где-то под горой, ему казалось, что вот-вот корвет не встанет и пойдет ко дну со всеми его обитателями.

И ему делалось невыразимо жутко и хотелось поскорее выскочить из каюты на свежий воздух, к людям.

Он пробовал подняться, но чуть было не стукнулся опять лбом. Надо было уловить момент, чтобы спрыгнуть. Батюшка стонал и шептал молитвы, мертвенно бледный, страдая приступами морской болезни.

– Что, опасности нет? – спрашивал он упавшим голосом.

– Ни малейшей! – уверенным голосом отвечал Ашанин, стараясь скрыть свое смущение, недостойное, как ему казалось, моряка, под видом напускного равнодушия.

Но едва только Ашанин стал на ноги, придерживаясь, чтобы не упасть, одной рукой за койку, как внезапно почувствовал во всем своем существе нечто невыразимо томительное и бесконечно болезненное и мучительное. Голова, казалось, налита была свинцом, в виски стучало, в каюте не хватало воздуха и было душно, жарко и пахло, казалось, чем-то отвратительным. Ужасная тошнота, сосущая и угнетающая, словно бы вытягивала всю душу и наводила смертельную тоску.

– Укачало, – подумал со страхом Ашанин, впервые понявший всю мучительность морской болезни и чувствуя неодолимое желание глотнуть свежего воздуха.

А корвет так и бросало со стороны на сторону, так и дергало.

С большим трудом, проделывая разные эквилибристические упражнения, чтобы не упасть, Ашанин оделся и, бледный, все с тем же мучительным ощущением тошноты и тоски, вышел из каюты.

В палубе, казалось, все прыгало и вертелось. Несколько десятков матросов лежало вповалку. Бледные, с помутившимися глазами, они казались совершенно беспомощными. Многие тихо стонали и крестились; многих тут же «травило», по выражению моряков. И вид всех этих страдавших морской болезнью, казалось, еще более усиливал страдания молодого человека.

И морская служба сразу потеряла в глазах Ашанина всю свою прелесть. Ах, зачем он ушел в плавание?.. Как хорошо теперь на твердой земле! Как мучительно ее хотелось!

⁵³ Бимсы – поперечные деревянные балки между бортами корабля. На бимсы настилаются палубы.

Глухой гул ревающего ветра доносился сверху сквозь приоткрытые люки. Там, наверху, казалось, происходило что-то ужасное и страшное.

Стараясь улавливать моменты, когда палуба не уходила из-под ног, пробирался Володя, хватаясь за разные предметы, к трапу.

У кают-компания он увидел Ворсуньку, сидевшего на корточках, притулившись к дверям буфетной каюты.

Выражение страдания и страха стояло на бледном лице молодого вестового. Что-то жалобно-покорное и испуганное было в его голубых, широко открытых глазах.

– Укачало, брат? – участливо спросил Ашанин, останавливаясь у трапа.

Вестовой хотел было встать.

– Сиди, сиди.

– С души вовсе рвет, барин... Точно душу тянет! – жалобно отвечал Ворсунька.

– Ты приляг... легче будет.

– Никак невозможно ложиться... я – дежурный... О, господи Иисусе, – испуганно вдруг прошептал Ворсунька и стал креститься, когда стремительным размахом бросило корвет набок.

– Не бойся, голубчик. Ничего опасного нет! – произнес Володя, сам полный жгучего страха, и, поднявшись по трапу, отдернул люк и очутился на палубе.

Его всего охватило резким, холодным ветром, чуть было не сшибившим его с ног, и осыпало мелкой водяной пылью. В ушах стоял характерный гул бушующего моря и рев, и стон, и свист ветра в рангоуте и в трепетавших, как былинки, снастях.

Цепляясь за протянутый леер⁵⁴, он прошел на шканцы и, держась цепкой рукой за брюк⁵⁵ наветренного орудия, весь потрясенный, полный какого-то благоговейного ужаса и в то же время инстинктивного восторга, смотрел на грозную и величественную картину шторма – первого шторма, который он видал на заре своей жизни.

Здесь, наверху, на ветре, ощущения морской болезни были не так мучительны, как в душной каюте, и качка хотя и казалась страшнее, но переносить ее было легче.

Ш

Действительно, было что-то грандиозное и словно бы загадочное в этой дикой мощи расвирепевшей стихии, с которой боролась горсточка людей, управляемая одним человеком – капитаном, на маленьком корвете, казавшемся среди необъятного беснующегося моря какой-то ничтожной скорлупкой, поглотить которую, казалось, так легко, так возможно.

Бушевавшее на всем видимом пространстве море представлялось глазам пенистой, взрытой, холмистой поверхностью бешено несущихся волн и разбивающихся одна о другую своими седыми верхушками. Издали не видать было цвета воды: все кипело пеной, точно в гигантском котле. И волны издали не давали понятия об их страшной высоте. Только вблизи, у самого корвета, можно было видеть эти громадные свинцово-зеленые валы с высокими гребнями, окружающие со всех сторон корвет и бешено, с гулом разбивающиеся о его бока, обдавая брызгами своих верхушек.

И среди этих водяных гор маленький «Коршун» со спущенными стеньгами и брам-стеньгами выдерживает шторм с оголенными мачтами под штормовыми триселями⁵⁶, бизанью⁵⁷ и фор-стеньги-стакселем, то поднимаясь на волну, то опускаясь в глубокую ложбину, образу-

⁵⁴ *Леер* – туго вытянутая веревка, у которой оба конца закреплены. Употребление лееров весьма разнообразно, между прочим, их протягивают вдоль палубы во время сильной качки.

⁵⁵ *Брюк* – канат, охватывающий орудие.

⁵⁶ *Триселя* – небольшие нижние паруса у грот- и фок-мачт.

⁵⁷ *Бизань* – нижний парус у бизань-мачты.

мую двумя громадными валами. Корвет дергает во все стороны. Он качается и вперед и назад, и с бока на бок и, разрезывая острым носом гребень, вскакивает на него, и в этот момент часть волны попадает на бак. Иногда при сильном размахе корвет черпает бортом, и тогда верхушки волн яростно вскидываются на палубу и выливаются на другой стороне борта через шпигаты⁵⁸.

Жутко было в первые минуты Володе от этой картины бушующего моря и от этой страшной близости к нему... Страшными казались и эти громады волн, несущиеся на корвет и словно бы готовые его сейчас поглотить... Вот сзади, словно большая гора, поднялся высокий вал над кормой, словно опустившийся в пропасть. Володя в трепетном страхе смотрит на эту водяную гору застывшим от ужаса взглядом. Ему, юному и неопытному моряку, только теоретически знакомому с пловучестью и легкостью судна, кажется, что еще мгновение... и эта гора обрушится на корму и покроет своим водяным саваном весь корвет со всеми его обитателями.

О, господи! Неужели?!

Но молодость и жажда жизни невольно протестуют против такой мысли.

И ему вдруг делается стыдно своего малодушного страха, когда вслед за этой мелькнувшей мыслью, охватившей смертельной тоской его молодую душу, нос «Коршуна», бывший на гребне переднего вала, уже стремительно опустился вниз, а корма вздернулась кверху, и водяная гора сзади, так напугавшая юношу, падает обессиленная, с бешенством разбиваясь о кормовой подзор, и «Коршун» продолжает нырять в этих водяных глыбах, то вскакивая на них, то опускаясь, обдаваемый брызгами волн, и отряхиваясь, словно гигантская птица, от воды.

На горизонте вокруг серо и мрачно. Изредка мелькнет парус такого же штормующего судна и скроется во мгле. Нависшее совсем низко небо покрыто темными клочковатыми облаками, несущимися с бешеной быстротой.

Ветер ревет, срывая гребни волн и покрывая море водяной пылью. Бешено воеет он и словно бы насаждает, нападая на маленький корвет, на его оголенные мачты, на его наглухо закрепленные орудия и потрясает снасти, проносясь в них каким-то жалобным стоном, точно жалея, что не может их уничтожить.

С такой же яростью нападали на маленький «Коршун» и волны, и только бешено разбивались о его бока, перекачивались через бак и иногда, если рулевые плошали, вливались верхушками через подветренный борт. Все их торжество ограничивалось лишь тем, что они обдавали своими алмазными брызгами вахтенных матросов, стоявших у своих снастей на палубе.

Прошло минут пять-десять, и юный моряк уже без жгучего чувства страха смотрел на шторм и на беснующиеся вокруг корвета высокие волны. И не столько привыкли все еще натянутые, словно струны, нервы, сколько его подбадривало и успокаивало хладнокровие и спокойствие капитана.

Бледный и истомленный от нескольких бессонных ночей, капитан точно прирос к мостику, расставив ноги и уцепившись за поручни, в своем коротком пальто, с нахлобученной фуражкой. Зорко и напряженно вглядывался он вперед и лично отдавал приказания, как править рулевым, которые в числе восьми человек стояли у штурвала под серединой мостика. Лицо его было серьезно и спокойно. Ни черточки волнения не было в его строгих чертах. Напротив, что-то покойное и уверенное светилось в возбужденном взгляде его серых, слегка покрасневших глаз и во всей этой скромной фигуре.

Это спокойствие как-то импонировало и невольно передавалось всем бывшим на палубе. Глядя на это умное и проникновенное лицо капитана, который весь был на страже безопасности «Коршуна» и его экипажа, даже самые робкие сердца моряков бились менее тревожно, и в них вселялась уверенность, что капитан справится со штормом.

Володя уже не сомневался в этом и с каким-то восторженным чувством вглядывал на своего любимца.

⁵⁸ Шпигаты – отверстия в бортах корабля для стока воды и для снастей.

Тут же на мостике стояли: вахтенный лейтенант Невзоров, тот самый молодой красивый брюнет, который с таким горем расставался в Кронштадте с изящной блондинкой женой, и старший штурман, худенький старик Степан Ильич.

Молодой лейтенант, видимо, был несколько взволнован, хотя и старался скрыть это. Но Володя заметил это волнение и в побледневшем лице лейтенанта, и в его тревожном взгляде, который то и дело пытливо всматривался то в капитана, то в старшего штурмана, словно бы желая на их лицах прочесть, нет ли серьезной опасности и выдержит ли корвет эту убийственную трепку.

Он тоже переживал свой первый шторм и в эти минуты втайне горько жалел, что не отказался от лестного назначения и пошел в дальнейшее плавание.

И, глядя на эти бушующие волны, среди которых метался корвет, молодому лейтенанту с какой-то поразительной назойливостью лезли мысли об отставке, и образ дорогой Наташи являлся перед ним, мучительно щема его душу.

«Ах, зачем он не послушался тогда ее... Зачем не отказался!..»

Но стыд за свое малодушие заставляет молодого лейтенанта пересилить свой страх. Ему кажется, что и капитан и старый штурман видят, что он трусит, и читают его мысли, недостойные флотского офицера. И он принимает позу бесстрашного моряка, который ничего не боится, и, обращаясь к старому штурману, стоящему рядом с капитаном, с напускной веселостью говорит:

– А славно треплет нас, Степан Ильич... Право, славно.

Почтенный Степан Ильич, проплававший более половины своей пятидесятилетней жизни и выдавший немало бурь и штормов и уверенный, что кому суждено потонуть в море, тот потонет, стоял в своем теплом стареньком пальто, окутанный шарфом, с надетой на затылок старенькой фуражкой, которую он называл «штормовой», с таким же спокойствием, с каким бы сидел в кресле где-нибудь в комнате и покуривал бы сигару. Он видел, что «штормяга», как он выражался, «форменный», но понимал, что «Коршун» доброе хорошее судно, а капитан – хороший моряк, а там все в руках господ бога.

– Ну, батенька, славного мало, – отвечал Степан Ильич. – Лучше бы было, если бы мы проскочили Немецкое море без шторма... Ишь ведь как валяет, – прибавил старый штурман, не чувствовавший сам никакого неудобства от того, что «валяет», и уже ощущавший потребность выпить стакан-другой горячего чаю. – Здесь, батенька, преподлая качка... Наверное, многих укачала! А вас не мутит?..

– Нет, нисколько, – похвастал Невзоров, хотя и чувствовал приступы тошноты.

– Внизу разлимонит... Уж такая здесь толчея... Это не то что океанская качка... Та благородная качка, правильная и даже приятная, а эта самая что ни на есть подлая.

– Право! Больше право! Так держать! – крикнул капитан рулевым.

Но волна-таки ворвалась, чуть было не смыла висевший на боканцах⁵⁹ катер и обдала матросов.

Матросы отряхнулись, словно утки от воды, и снова стоят у своих снастей, молчаливые и серьезные. На всех поверх теплых фланелевых рубах надеты пальто-бушлаты и просмоленные наружные дождевики, но эта одежда не спасает их от мокроты. Брызги волн непрерывно обдают их. Многих, особенно молодых матросов, укачало и наверху, и они стоят бледные как смерть.

Не слышно, как обыкновенно, ни шуточки, ни смеха. Только изредка кто-нибудь заметит:

– Ишь ты, каторжный какой ветер...

– Штурма настоящая...

Молодой матросик из первогодков, ошалелый от страха, обращается к пожилому матросу и спрашивает:

⁵⁹ Боканцы, или шлоп-балки – слегка изогнутые железные брусья, на которых висят гребные суда.

– А что, Митрич, потопнуть нельзя при такой страсти?

«Митрич», здоровенный, коренастый матрос и, судя по сизому носу, отчаянный пьяница, отвечает грубоватым голосом:

– Деревня ты как есть глупая!.. Потопнуть?! И не такие штурмы бывают, а корабли не тонут. «Конверт» наш, небось, крепок... И опять же капитан у нас башковатый... твердо свое дело понимает... Погляди, какой он стоит... Нешто стоял бы он так, если бы опаска была...

Молодой матросик, стоявший у грот-мачты, смотрит на мостик, где стоит капитан, и несколько успокаивается.

– Бог-то его любит, братцы, за евойную доброту к матросу и не попустит! – вставил кто-то.

– То-то оно и есть! – подтвердил Митрич и после минуты молчания прибавил, обращаясь ко всем: – давечь, в ночь, как рифы брали, боцман хотел было искровянить одного матроса... Уже раз звезданул... А около ардимарин случись... Не моги, говорит, Федотов, забижать матроса, потому, говорит, такой приказ капитанский вышел, чтобы рукам воли не давать.

– Что же боцман?

– Известно, оставил... Но только опосля все-таки начистил матросику зубы... Знает, дьявол, что матрос не пойдет жалиться... А все ж таки на этих анафем боцманов да унтер-церов теперь справа есть... Опаску, значит, будут иметь...

– Мутит, братцы, ох, как мутит, – жаловался матросик.

– А ты «страви» – полегчает, – ласково сказал Митрич.

– То-то не «травит»...

– А ты запусти, братец ты мой, палец в глотку...

Матросик последовал совету товарища.

– Ну, что, легче?

– Будто и легче.

Ашанин пробыл наверху около часа. Шторм, казалось, крепчал, и качка делалась нестерпимее. Он снова почувствовал сильные приступы морской болезни и на этот раз мучительные.

И снова все показалось ему немилым, и снова морская служба потеряла всякую прелесть в его глазах. Он спустился вниз, шатаясь, дошел до своей каюты и влез на койку. Но и лежачее положение не спасло его. После самого пребывания на свежем воздухе его, как выражался старый штурман, «совсем разлимонило» в душной и спертой атмосфере маленькой каюты, в которой по-прежнему бедный батюшка то стонал, то шептал молитвы, вдруг прерываемые неприятными звуками, свидетельствовавшими о приступе морской болезни.

Володя так же страдал теперь, как и его сожитель по каюте, и, не находя места, не зная, куда деваться, как избавиться от этих страданий, твердо решил, как только «Коршун» придет в ближайший порт, умолять капитана позволить ему вернуться в Россию. А если он не отпустит (хотя этот чудный человек должен отпустить), то он убежит с корвета. Будь что будет!

В этот мучительный день на Немецком море Володя ненавидел морскую службу, а море, которое он видел в иллюминатор, внушало ему отвращение.

IV

Такие же чувства испытывали в этот день большая часть офицеров и гардемарин и добрая половина матросов. Всех укачало, и для всех берег являлся желанным и недостижимым блаженством.

Все почти отлеживались по своим каютам, с ужасом ожидая времени, когда придется идти на вахту.

По случаю шторма варки горячей пищи не было. Да почти никто и не хотел есть. Старик-матросы, которых не укачало, ели холодную солонину и сухари, и в кают-компании пода-

вали холодные блюда, и за столом сидело только пять человек: старший офицер, старик-штурман, первый лейтенант Поленов, артиллерист да мичман Лопатин, веселый и жизнерадостный, могучего здоровья, которого, к удивлению Степана Ильича, даже качка Немецкого моря не взяла.

– Вы, батенька, прирожденный моряк, – говорил старик-штурман и уписывал с обычным своим аппетитом и ветчину, и холодную телятину, запивая все это любимой своей марсалай.

Обедали, конечно, с деревянной сеткой, укрепленной поверх стола, в гнездах которой стояли приборы и лежали плашмя графины и бутылки, чтобы все эти предметы не могли двигаться на качающемся стремительно столе. Вестовые выписывали вензеля и делали необыкновенные акробатические движения, чтобы донести блюда по назначению и не разметать яств по полу. Приходилось выбирать моменты и обедающим, умело ими пользоваться, чтобы благополучно донести вилку до рта, не разлить вина или не обжечься горячим чаем, который подавался в стаканах, завернутых в салфетку.

Весь этот день Володя пролежал в каюте, впадая по временам в забытие. Точно сквозь сон слышал он, как под вечер зычный голос боцмана прокричал: «Пошел все наверх» – хотел было вскочить, но, обессиленный, не мог подняться с места.

Да и не все ли равно? Ведь он бесповоротно решил в первом же порте остаться, и ну ее к черту, эту отвратительную службу... Пусть дядя сердится, а он не виноват... Ишь ведь как мечется во все стороны корвет... О, господи, что это за ужасная качка... И неужели можно к ней привыкнуть когда-нибудь...

Он вспомнил, что не пошел на вахту, и когда ему рассыльный пришел доложить, что до вахты пять минут, сказал, что болен и выйти не может...

Еще бы выйти, когда его безостановочно тошнит.

Он ни за что не встанет... Пусть с ним делают, что хотят... Он будет лежать до тех пор, пока «Коршун» не придет в порт... О, тогда он тотчас же съедет на землю.

Счастливы, кто живет на земле... Идиоты – пускающиеся в море... О, как завидовал он всем этим счастливым, которые сидели и ходили и не чувствовали этих мучительных приступов...

«О, мама, милочка! как бы я хотел быть с тобой!» – повторял Володя и, наконец, забылся в тяжелом сне.

V

Проснувшись на следующее утро, Володя, к крайнему своему изумлению, чувствовал себя свежим, бодрым, здоровым и страшно голодным.

Что это значит?.. Разве уж больше не качает?

Но корвет качало и качало почти так же, как вчера, а между тем Ашанин не испытывал никакого неприятного ощущения.

Он боялся верить такому счастью. Может быть, ему так кажется оттого, что он лежит?

И он приподнялся на койке, придерживаясь рукой за стойку, чтобы не стукнуться лбом. Койка, словно качели, мечется под ним, а он ничего... Ни тоски, ни этого сосания под ложечкой, ни этого свинца в голове.

– Неужели?! – громко воскликнул Ашанин.

– Что вы, Владимир Николаевич?.. Али во сне?.. Господь с вами! – проговорил слабым голосом батюшка.

– Простите, батюшка, я вас разбудил?

– Какой сон... Не дает мне господь сна-то. Всю ночь мучился... и теперь вот... Качка-то какая... Нет передышки...

– Разве вам не легче сегодня?

– Нимало не легче...

– А я, батюшка, так нисколько не чувствую качки, точно ее и нет! – с счастливым и радостным чувством говорил Ашанин. – А вчера-то... Впрочем, это может быть пока, а когда встану...

– Который час?

– О! уже половина восьмого, а мне с восьми на вахту.

Ашанин спрыгнул с койки и постоял несколько времени, ожидая, что вот-вот и вся его радость разлетится прахом.

Но здоровый крепкий организм юноши выдержал и это испытание, и он, хотя и не без больших забот о равновесии собственного тела, сегодня мог вымыться, причесаться, – словом, несколько заняться туалетом, о котором и не думал вчера.

– Ишь, какой вы счастливец, – проговорил батюшка.

– Вам не надо ли чего? Не приказать ли подать чаю?

Но батюшка замахал руками.

– Не надо мне ничего... Какой чай... Служитель божий страдает, а вы, словно бы в издевку над ним, предлагаете чай, когда на свет божий тошно смотреть... Нехорошо, Владимир Николаевич! – раздраженно говорил батюшка.

– Честное слово, батюшка, я и не думал издеваться... Я сам вчера страдал... Я понимаю...

Но батюшка застонал, и Володя вышел из каюты.

В палубе почти не видно было лежащих матросов, и лица у всех не были бледные, как вчера.

– Ну, а ты, Рябов, как, брат, сегодня? – окликнул Ашанин Ворсуньку, вышедшего из каюты артиллериста.

– А вы уж изволили встать? А я только что хотел вас побудить... Да как же, барин, у вас сапоги не чищены... и платье тоже... Я утром рано заходил, так боялся беспокоить... И поп стонет...

– Не беда... Ты лучше скажи, рвет тебя с души, как ты вчера говорил, или нет?

– Самую малость, барин...

– Меня нисколько, брат! – весело говорил Володя.

– Дай вам бог... Бог даст, и у меня отойдет... Сегодня по крайности хоть на свет божий глядеть можно, а вчера...

– Вчера, брат, и меня укачало... Хотел вовсе службу бросать! – засмеялся Володя.

– Уйтить только некуда, барин... Кругом море...

Володя вошел в гардемаринскую каюту. Там уже пили чай.

– Ну, что, Ашанин, ожили? – встретили его со всех сторон вопросами молодые люди.

– Ожил, а вы, господа, как?

– Вчера все как есть в лоск лежали, – заметил курчавый, красивый брюнет Иволгин.

– И собирались в отставку?

– Собирались! – рассмеялся Иволгин. – Разве и вы тоже?

– Я сбежать даже собирался.

– Ну, а теперь вас нисколько не укачивает? – допрашивал Иволгин.

– Нисколько!

– Ни капельки?

– Ни капельки!

– Вы не хвастаете?

– Честное слово.

– Счастливец! Меня все еще чуть-чуть мутит... Зато наверху нисколько.

– И меня нисколько не укачивает! – заметил плотный, здоровый рыжий молодой человек.

– Еще бы такого быка, как ты, укачать. И то удивительно, что вчера тебя свалило.

– А вот бедный наш Кошкин так и сегодня еще в антимонии находится, – заметил рыжий юноша. – Еще бы: зачем он такой спичка!

– Не всем быть таким быком, как ты... И фамилия-то у тебя такая: Быков! – раздался с койки раздраженный голос.

– А знатно трепало вчера, господа.

– А как сегодня? – спросил Володя.

– Валяет порядочно, но куда легче...

Володя не без некоторого страха пил чай и уписывал черствые булки с маслом и сухари.

А что как после еды его снова укачает?

Но голод давал себя знать, и Володя удовлетворил по возможности свой волчий аппетит, рассчитывая сегодня поплотнее пообедать.

За пять минут до восьми он вышел наверх и сегодня не только без всякого страха смотрел вокруг, а с каким-то вызывающим чувством, словно бы и он принимал участие в победе над вчерашним штормом.

Море еще бушевало. По-прежнему оно катило свои седые волны, которые нападали на корвет, но сила их как будто уменьшилась. Море издали не казалось одной сплошной пеной, и водяная пыль не стояла над ним. Оно рокотало, все еще грозное, но не гудело с ревом беснующегося стихийного зверя.

Ветер уж не ревел, срывая гребни волн, с яростью бури и не раздражался бешеными порывами, а, свежий, очень даже свежий, дул ровно, с одинаковой силой, далеко не доходя до силы шторма.

И «Коршун», пользуясь попутным ветром, несся, весь вздрагивая и раскачиваясь, в бакшаг узлов по десяти, по двенадцати в час, под марселями в два рифа, фоком и гротом, легко и свободно перепрыгивая с волны на волну. И сегодня уж он не имел того оголенного вида, что вчера, когда штормовал с оголенными куцыми мачтами. Стеньги были подняты, и, стройный, красивый и изящный, он смело и властно рассекал волны Немецкого моря.

Горизонт был чист, и на нем то и дело показывались белеющие пятна парусов или дымки пароходов. Солнце, яркое, но не греющее, холодно смотрело с высоты неба, по которому бегали перистые облака, и доставляло большое удовольствие старому штурману Степану Ильичу, который уже брал высоты, чтобы иметь, наконец, после нескольких дней без наблюдений, точное место, то есть знать широту и долготу, в которой находится корвет.

И все лица словно просветлели. И когда в восемь часов утра вышел к подъему флага капитан, все с каким-то безмолвным почтением взглядывали на него, словно бы понимая, что он – победитель вчерашнего жестокого шторма.

Глава пятая. Спасение погибающих

I

Хотя на баке еще сильно «поддавало»⁶⁰ и нос корвета то стремительно опускался, то вскакивал наверх, тем не менее Ашанин чувствовал себя отлично и окончательно успокоился. Бодрый и веселый, стоял он на вахте и словно бы гордился, что его нисколько не укачивает, как и старого боцмана Федотова и других матросов, бывших на баке.

Увидав Бастрюкова, который по обыкновению, стоя на вахте, не оставался без работы, а плел мат и мурлыкал себе под нос какую-то песенку, Володя подошел к нему и поздоровался.

– Здравия желаю, барин, – весело приветствовал его Бастрюков. – Хорошо ли почивали?

– Отлично, брат.

– Вчерась-то вас не видно было; верно укачало... Ну, да и качка же была. Мало кого не тронуло, особливо кто здесь не бывал.

– А тебя вчера укачало?

– Меня не берет, барин... Нутренность, значит, привыкла, а как первый раз был в этом самом Немецком море, так с ног свалило. Через силу вахту справлял.

– И меня, брат, совсем укачало.

– То-то на вахту не выходили...

– Не мог, – невольно краснея, проговорил Ашанин и подумал: «А вот матросы же могли... их также укачивало».

– Отлеживаться лучше-то.

– Зато сегодня меня нисколько не укачивает, Бастрюков. Ни капельки.

– То-то вы, баринок, такой веселый. Это бог, значит, к вам милостив... дает вам легче справлять службу.

– Ведь и теперь качка порядочная. Не правда ли?

– Здорово покачивает.

– А мне ничего, – с наивной радостью говорил Володя.

– Теперь вам, барин, никакая качка не страшна после вчерашнего. Нутренность ваша, значит, вся вчера перетряслась и больше не принимает качки. Шабаш, мол. Другие есть, которые долго не привыкают.

Володя заходил по баку, стараясь, как боцман Федотов, спокойно и просто ходить во время качки по палубе, но эта ходьба, заставляя напрягать ноги, скоро его утомила, и он снова подошел к пушке, около которой стоял Бастрюков.

Его как-то всегда тянуло поговорить с ним.

– А вчера шторм-таки сильный был, – начал Володя.

– Д-д-д-а, было-таки. Не дай бог, какая ночь... Совсем страшная... Ну, да с нашим «голубем» и страху словно меньше и завсегда обнадеженность есть. Он башковатый... и не в такую штурму вызовет.

– А страшно было?

– Как еще страшно... Во втором часу ночи самый разгар был... Бе-да.

– Ты разве боялся?

– А то как же не бояться? – переспросил Бастрюков, ласково улыбаясь своими добрыми умными глазами. – Всякий человек боится, потому что никто не согласен в воде топнуть. Дело

⁶⁰ Когда с носа на судно вкатывается гребень волны.

свое сполняй как следовало, по совести, а все-таки бойся... И всякая тварь гибели боится, а человек и подавно. А который ежели говорит, что ничего не боится, так это он, милый барин, куражится и людей обманывает. Думает, и в самом деле, примерно, цаца какая, что ничего, мол, не боится... А я так полагаю, что и капитан наш – уж на что смелый, а и тот бури боится, хотя по своему званию и не показывает страху людям... И, по-моему, по рассудку, еще больше других боится...

– Почему ты так думаешь? – спросил Ашанин, несколько удивленный этим своеобразным рассуждением матроса.

– А потому, барин, что мы боимся только за себя, а он-то за всех, за людей, кои под его командой. Господу богу отвечать-то придется ему: охранил ли, как мог, по старанию, доглядел ли... Так, значит, который командир большую совесть имеет, тот бесприменно должен бояться.

Володя почувствовал глубочайшую истину в этих словах доброго и необыкновенного симпатичного матроса и понял, как фальшивы и ложны его собственные понятия о стыде страха перед опасностью.

Да и не раз потом ему пришлось многому научиться у этого скромного старого матроса, то и дело открывавшего молодому барину неисчерпаемое богатство народной мудрости и нравственную прелесть самоотвержения и скромной простоты. Благодаря Бастрюкову и близкому общению с матросами Ашанин оценил их, полюбил и эту любовь к народу сохранил потом на всю жизнь, сделав ее руководящим началом всей своей деятельности.

II

Мичман Лопатин, стоявший на мостике, что-то долго и внимательно разглядывал в бинокль.

Наконец он отвел глаза и приказал сигнальщику навести подзорную трубу в указанном направлении.

– Видишь что-нибудь? – торопливо и взволнованно спросил он.

– Вижу, ваше благородие... быдто мачта над водой.

– А на мачте?

– Флаг, ваше благородие, и быдто люди... Вон еще флаги...

– Попроси наверх старшего офицера, – приказал вахтенный офицер и снова впился глазами в горизонт. Лицо его, красивое и румяное, обличало сильное волнение.

Через минуту на мостик поднялся старший офицер.

– Андрей Николаевич... Кажется, погибает судно... вот в этом направлении. Прикажете идти к нему? – нервно и возбужденно говорил весь побледневший молодой мичман.

Старший офицер взял подзорную трубу и стал смотреть.

Мичману казалось, что он смотрит ужасно долго, и он нетерпеливо и с сердитым выражением взглядывал на маленькую, коренастую фигурку старшего офицера. Его красное, обросшее волосами лицо, казалось мичману, было недостаточно взволнованно, и он уже мысленно обругал его, негодуя на его медлительность, хотя и минуты еще не прошло с тех пор, как старший офицер взял трубу.

– Странно... корпуса не видно... Дайте знать капитану! Приготовьтесь к повороту.

– Господин Ашанин! – крикнул мичман на бак.

– Есть! – отвечал Володя, торопливо подбегая к мостику.

– Доложите капитану, что на ОНО бедствующее судно... Живей!

Ашанин стремглав полетел в капитанскую каюту.

А вахтенный мичман громко и возбужденно крикнул.

– По местам стоять! К повороту!

Володя вбежал в каюту и увидел капитана, крепко спавшего на диване. Он был одет. Лицо его, бледное, истомленное, казалось при сне совсем болезненным, осунувшимся и постаревшим. Еще бы! Сколько ночей не спал он.

– Василий Федорович! – окрикнул его Ашанин.

Но капитан не проснулся.

Тогда Володя дернул его за руку.

– Что такое? – спросил капитан, поднимая красные глаза на Ашанина.

– На горизонте судно... погибает! – доложил взволнованно Володя.

Капитан быстро вскочил с дивана, взял со стола фуражку и, как был, в одном сюртуке, бросился из каюты.

Володя заметил это и сказал чернявому капитанскому вестовому, чтобы тот вынес наверх капитану пальто. Затем он торопливо поднялся по трапу и побежал на бак.

Через пять минут «Коршун» уже повернул на другой галс⁶¹ и несся к тому месту, где погибало судно.

Капитан смотрел в бинокль и нервно пощипывал бакенбарду. Все офицеры выскочили наверх, и все глядели в одну точку.

– Поставьте грот! – приказал капитан, которому казалось, что корвет идет недостаточно скоро.

Поставили грот, и «Коршун» понесся скорее.

Матросы толпились у борта и, взволнованные, напряженно смотрели вперед. Но простым глазом еще ничего не было видно.

Прошло еще несколько минут, и кто-то испуганно крикнул:

– Смотри, ребята... Ах ты, господи!

Володя взглянул и увидел качающуюся над волнами мачту с чернеющими на ней пятнами и приподнятый кверху нос. У него мучительно сжалось сердце.

Матросы снимали шапки и крестились. На палубе царила мертвая тишина.

«Коршун» подходил ближе и ближе, и эти чернеющие пятна преобразились в людские фигуры с простертыми, словно бы молящими о помощи руками. Они стояли на вантах и на марсе.

Полузатопленное судно каким-то чудом держалось на воде, и волны переливались через него. Шлюпок около не было видно. Вся надежда погибавших заключалась в случайной возможности быть замеченными каким-нибудь мимо идущим судном. Но ведь могло и не быть такого судна именно в этой маленькой точке моря, где медленно умирала горсточка моряков. И с проходившего судна могли и не заметить этой одиноко уцелевшей мачты, качающейся на волнах. И, наконец, могли и заметить и... жестокосердно пройти мимо. Такие случаи, правда, редки, но бывают, к позору моряков. И тогда – неизбежная, страшная смерть...

Чем ближе подходил корвет, тем возбужденнее и нетерпеливее были лица моряков.

И среди матросов раздаются восклицания:

– Ишь, сердечные, руками машут...

– То-то ждут нас...

– Потерпи, братцы... – говорит какой-то матрос, точно надеясь, что его могут услышать.

Володя не спускал глаз с мачты. У него теперь в руках был бинокль, и он мог уже разглядеть эти истомленные, страдальческие лица, эти зацепеневшие на вантах фигуры, эти протянутые руки. Всех было человек двадцать.

– Баркас⁶² к спуску! – раздалась команда.

⁶¹ *Повернуть на другой галс* – значит сделать поворот, то есть относительно ветра поставить судно в такое положение, чтобы ветер дул в его правую сторону, когда до поворота он дул в левую, и обратно.

⁶² *Баркас* – самое большое гребное судно. Бывает и паровое.

Наконец «Коршун» приблизился к полузатопленному судну и лег в дрейф в расстоянии нескольких десятков сажен от него.

И до ушей моряков донесся с качающейся мачты радостный крик. Многие махали шапками.

Матросы в свою очередь снимали шапки и махали.

Раздались голоса:

– Сичас, братцы, всех вас заберем!..

– Бог-то вызволил...

– А какой народ будет?

– Французы, сказывали... Ишь, зазябли больно, бедные...

Баркас был поднят из ростр и спущен на воду необыкновенно быстро. Матросы старались и рвались, как бешеные.

Лейтенант Поленов, который должен был ехать на баркасе, получив от капитана соответствующие инструкции, приказал баркасным садиться на баркас. Один за одним торопливо спускались по веревочному трапу двадцать четыре гребца, прыгали в качающуюся у борта большую шлюпку и рассаживались по банкам. Было взято несколько одеял, пальто, спасательных кругов и буйков, бочонок пресной воды и три бутылки рома. Приказано было и ром и воду давать понемногу.

Когда вслед за гребцами стал спускаться плотный лейтенант с рыжими усами, к трапу подбежал Ашанин и, обратившись к старшему офицеру, который стоял у борта, наблюдая за баркасом, взволнованно проговорил:

– Андрей Николаевич, позвольте и мне на баркас.

В его голосе звучала мольба.

Старший офицер, видимо, колебался.

– Свежо-с!.. Вас всего замочит на баркасе... И к чему вам ехать-с? – проговорил он.

Но капитан, увидавший с мостика сперва умоляющее и потом сразу грустное выражение лица Ашанина и понявший, в чем дело, крикнул с мостика старшему офицеру:

– Андрей Николаевич! пошлите на баркас в помощь Петру Николаевичу кадета Ашанина.

– Есть! – ответил старший офицер и сказал Володе: – Ступайте, да смотрите, без толку не лезьте в опасность. – Володя бросил благодарный взгляд на мостик и стал спускаться по трапу.

– С богом! Отваливайте! – проговорил старший офицер.

С корвета отпустили веревку, на которой держался баркас, и он, словно мячик, запрыгал на волнах, удаляясь от борта.

Многие матросы перекрестились.

А с мачты, усеянной людьми, раздалось троекратное «Vive la Russie!»⁶³

III

– Навались, ребята! – говорил лейтенант с рыжими усами, правя рулем вразрез волн, верхушки которых то и дело обдавали всех сидевших на баркасе.

Но гребцы и без того «наваливались» изо всех сил, выгребая против сильного волнения, и баркас ходко подвигался вперед, ныряя в волнах, словно морская утка. На шлюпке близость этих водяных гор казалась еще более жуткой, и у Ашанина в первые минуты замирало сердце. Но возбужденный вид этих раскрасневшихся, обливающихся потом лиц гребцов, спешивших на помощь погибавшим и не думавших об опасности, которой подвергаются сами, пристыдил юнца... Он взглянул на качающуюся мачту, которая была уже близко, увидел эти дико радостные лица и уже более не обращал внимания на волны и почти не замечал, что был весь мок-

⁶³ Да здравствует Россия! (франц.)

рый. – Vive la Russie!.. Vive la Russie! – раздалось с полузатонувшего корабля, когда баркас был в нескольких саженях.

И люди стали спускаться с верхушки мачты, наседая друг на друга.

– Du calme! Attention! Nous les prendrons tous! Nous n'oublions personne! (Не торопитесь! Осторожнее! Мы всех возьмем! Никого не оставим!) – крикнул лейтенант.

Но нетерпение скорее спастись пересиливало благоразумие... Все теперь столпились на нижних вантах, смертельно бледные, с лихорадочно сверкающими глазами, с искаженными лицами, толкая друг друга. И один из этих несчастных, видимо совсем ослабевший, упал в море.

Баркас направился к нему. Несколько дружных гребков – и один из матросов, перегнувшись через борт, успел вытащить человека из воды. Худенький, тщедушный француз с эспаньолкой был без чувств.

Володя занялся им.

Баркас подошел к судну с его подветренной стороны. Лейтенант строго прикрикнул, чтобы слушались его и без его приказа не садились.

Тогда только водворилось некоторое подобие порядка, и один за другим французы прыгали в баркас. Старик-капитан судна соскочил последним.

Оставалось на вантах еще пять человек. Они, видимо, совсем заоченели и не имели силы сойти.

– Ребята, надо снять этих людей! – сказал лейтенант.

Тотчас же из баркаса выпрыгнуло на судно несколько матросов и вместе с ними Володя. Они были в воде выше колен и должны были цепко держаться, чтоб их не снесло волнами.

Осторожно снимали они полузамерзших людей и передавали на баркас. Наконец, все были сняты, и мокрые матросы с Володи прыгнули на баркас.

– Plus personne? (Больше никого не осталось?) – спросил лейтенант у старика-капитана.

– Personne! (Никого!) – проговорил старик и вдруг зарыдал.

Плакали и другие, целовали руки матросам и просили пить. Один дико захохотал. Некоторые лежали без чувств. Юнга, мальчик лет пятнадцати, сидевший около Володи, с воспаленными глазами умолял его дать еще глоток... один глоток...

– Не давайте, Ашанин, а то умрет, – сказал лейтенант.

Было что-то невыразимо потрясающее при виде этих страдальцев. Все они были изнурены до последней степени и казались мертвецами. Всех их прикрыли одеялами и всем дали по глотку рома.

Помощник капитана, здоровенный бретонец, который был бодрее других, слабым голосом рассказал, что они двое суток провели на мачте без пищи, без воды.

– Sans vous... (Без вас...)

Он не мог продолжать и только прижимал руку к сердцу.

Через двадцать минут баркас приставал к борту «Коршуна».

Всех спасенных пришлось поднимать из баркаса на веревках. Двоих подняли мертвыми; они незаметно умерли на шлюпке, не дождавшись возврата к жизни.

Мокрые и возбужденные вышли на палубу гребцы и были встречены капитаном.

– Молодцы, ребята! – проговорил он. – Постарались! Идите переоденьтесь да выпейте за меня по чарке водки.

– Рады стараться, вашескобродие!

– А вы, Ашанин, совсем мокрый, точно сами тонули...

– Он, Василий Федорович, по горло в воде гулял на затонувшем судне – людей снимал! – заметил лейтенант.

– Ну, идите скорее вниз... переоденьтесь да обогрейтесь, и милости просим ко мне обедать.

Через несколько минут баркас был поднят, и «Коршун», сделав поворот, снова шел прежним своим курсом.

IV

Тем временем доктор вместе со старшим офицером занимались размещением спасенных. Капитана и его помощника поместили в каюту, уступленную одним из офицеров, который перебрался к товарищу; остальных – в жилой палубе. Всех одели в сухое белье, вытерли уксусом, напоили горячим чаем с коньяком и уложили в койки. Надо было видеть выражение бесконечного счастья и благодарности на всех этих лицах моряков, чтобы понять эту радость спасения. Первый день им давали есть и пить понемногу.

Через два дня все почти французы оправились и, одетые в русские матросские костюмы и пальто, выходили на палубу и скоро сделались большими приятелями наших матросов, которые ухитрились говорить с французами на каком-то особенном жаргоне и, главное, понимать друг друга.

Старик-капитан, высокий, худой, горбоносый южанин из Марсея, с бронзовым, подвижным и энергичным лицом, опушенным засевшими баками, и эспаньолкой, на другой же вечер мог рассказать в кают-компании обстоятельства крушения своего трехмачтового барка «L'hirondelle» («Ласточка»).

Он шел из Нарвы в Бордо с грузом досок и бочек. До Немецкого моря они шли благополучно, но, застигнутый здесь жесточайшим штормом пять дней тому назад, барк потерял две мачты, руль и все шлюпки. Но хуже всего было то, что старое судно получило течь, которая во время шторма усиливалась все более и более. Помпы не помогали. Судно носило по волнам, трепало, и оно все ниже и ниже погружалось в воду. Все ждали неминуемой гибели. Когда палуба уже покрылась водой, а корма совсем опустилась, все бросились на уцелевшую фок-мачту, ежеминутно ожидая, что вот-вот барк погрузится в волны. «Но полузатопленное судно не шло ко дну: вероятно, пустые бочки, бывшие в трюме, спасли нас», – вставил капитан, – и надежда закралась в сердца моряков, надежда, что вот-вот на горизонте покажется парус судна, которое заметит погибавших. Но буря не затихала... судно не показывалось. Так прошли длинные, бесконечно длинные сутки.

– На следующий день, обессиленные, голодные, иззябшие, мы уже начали терять надежду, – говорил старик-капитан. – О, что мы испытали, что мы испытали! – повторял он и при одном воспоминании как-то весь вздрагивал и озирался вокруг, словно бы желая удостовериться, что он сидит в кают-компании, окруженный внимательными участливыми слушателями, и перед ним стакан красного вина, только что вновь наполненный кем-то из офицеров. – Я, господа, плаваю тридцать пять лет, кое-что видел в своей жизни, разбивался у берегов Африки, выдержал несколько ураганов, был на горевшем корабле, но все это ничто в сравнении с этими двумя днями... Их не забыть! Шторм как будто затихал, но нам от этого не было лучше. Мы мерзли... Мы точно умирали заживо... чувствуя голод и жажду... Боже! какую жажду! Мы сосали пальцы, но соленая вода только усиливала жажду. Одежда леденела... Некоторые спускались на палубу и погружались в воду, чтобы согреться, но двоих на наших глазах смыло волнами... Настала вторая ночь, такая же холодная... Мы прижимались друг к другу, чтобы согреться, и толкали друг друга, чтобы не заснуть вечным сном... Боже! что за ночь! Многие галлюцинировали и говорили о солнце, о виноградниках, о теплых постелях... Маленький наш юнга рыдал. Плотник хохотал каким-то диким смехом. Когда рассвело, двое матросов, бывших около меня на вантах, спали... Я взглянул на них... Они спали вечным сном с судорожно уцепившимися за ванты руками... Каждый теперь ждал смерти... Вдруг кто-то крикнул: «Судно!» Мы все впились в море... Действительно, к нам приближался парус. Мы увидели бриг. Крик

радости вырвался у всех... Но вообразите себе, господа, – продолжал капитан, – бриг подошел, вдруг повернул от нас и скоро скрылся.

– О, какие мерзавцы! Под каким флагом был бриг? – спросил кто-то.

– Он не поднял, господа, флага и поступил, по-моему, предусмотрительно: по крайней мере по нескольким выродкам человечества мы не будем позорить нацию, к которой они принадлежат!

Француз отпил глоток вина и продолжал:

– Вы догадаетесь, господа, что мы проводили этого изверга проклятиями и снова застыли на своих местах, еще более отчаявшиеся. Еще бы! Видеть возможность спасения, видеть этот бриг так близко – потерять надежду... Это было ужасно... Мой боцман, несмотря на то, что едва держался от утомления на вантах, не переставал ругать бриг самыми страшными ругательствами, какие только может придумать воображение моряков... И вдруг опять крик: «Парус!» Признаться, мы уже мало надеялись... Пройдет мимо, думали мы... Однако кто-то замахал флагом-Невольно протягивались руки. По остановке я сразу узнал военное судно, и когда увидел, как на корвете вашем великодушно прибавили парусов, несмотря на свежий ветер, о, тогда я понял, что мы спасены, и мы благословляли вас и плакали от счастья, не смея ему верить...

Старик примолк и после паузы промолвил:

– К сожалению, только не все приехали живыми... Двое не перенесли этих страданий.

Этих несчастных похоронили в тот же день, после того, как доктор установил несомненный факт их смерти.

Похоронили их по морскому обычаю в море.

Тела их были зашиты в парусину, плотно обмотаны веревками, и к ногам их привязаны ядра.

В пятом часу дня на шканцах были поставлены на козлах доски, на которые положили покойников. Явился батюшка в траурной рясе и стал отпевать. Торжественно-заунывное пение хора певчих раздавалось среди моря. Капитан, офицеры и команда присутствовали при отпевании этих двух французских моряков. Из товарищей покойных один только помощник капитана был настолько здоров, что мог выйти на палубу; остальные лежали в койках.

Панихида окончена.

Тогда несколько человек матросов подняли с козел доски, понесли их к наветренному борту, наклонили... и два трупа с тихим всплеском исчезли в серо-зеленых волнах Немецкого моря...

Все перекрестились и разошлись в суровом молчании.

Приспущенный до половины кормовой флаг в знак того, что на судне покойник, снова был поднят.

– То-то и есть! – не то укорительно, не то отвечая на какие-то занимавшие его мысли, проговорил громко один рыжий матрос и несколько времени смотрел на то место, куда бросили двух моряков.

V

Капитан обещал довести французов до Бреста, куда он рассчитывал зайти после остановки в Темзе, в небольшом городке Грейсенде, в часе езды от Лондона.

Матросы относились к пассажирам-французам с необыкновенным добродушием, вообще присущим русским матросам в сношениях с чужеземцами, кто бы они ни были, без разбора рас и цвета кожи. Они с трогательной заботливостью ухаживали за оправлявшимися моряками и угощали их с истинно братским радушием.

Перед обедом, то есть в половине двенадцатого часа, когда не без некоторой торжественности выносилась на шканцы в предшестве баталера большая ендова с водкой и раздавался

общий свист в дудки двух боцманов и всех унтер-офицеров, так называемый матросами «свист соловьев», призывавший к водке, – матросы, подмигивая и показывая на раскрытый рот, звали гостей наверх.

– Алле наверх, водку пить... У нас, братец, водка бон... Понимаешь?

Француз, ничего не понимая, деликатно кивает головой.

– Шнапс тре бон... очень вкусна напиток! – продолжает матрос, уверенный, что коверкание своих слов в значительной мере облегчает понимание.

И баталер не начинал обычно выклички матросов, пока французы первые не выпивали по чарке водки.

Зная, что их ждут, они, по примеру русских, сразу глотали изрядную чарку крепкой водки, и некоторые из них отходили в толпу, едва переводя дух, словно бы внезапно чем-то озадаченные люди.

– Что, брат, забирает российская водка? – добродушно спрашивает матрос, хлопая по плечу низенького, сухощавого и смуглого французского матроса. Нака-сь, сухариком заешь!

– Они по-нашему, братцы, не привычны, – авторитетно говорит фор-марсовый Ковшиков, рыжий, с веснушками, молодой парень, с добродушно-плутоватыми смеющимися глазами и забубенным видом лихача и забуддыги-матроса. – Я пил с ими, когда ходил на «Ласточке» в заграницу... Нальет это он в рюмочку рому или там абсини⁶⁴ – такая у них есть водка – и отцеживает вроде быдто курица, а чтобы сразу – не согласны! Да и больше все виноградное вино пьют.

– Ишь ты!

– Что, камрад, бон водка? – спрашивает он, подходя к смуглому французу с озадаченным видом. – Вулеву-анкор? – неожиданно говорит он, приводя в изумление товарищей таким знанием французского языка.

Чернявый француз смеется и в свою очередь ошарашивает всех, когда, старательного выговаривая слова, произносит:

– Карош русски водки!

Эффект полный. В толпе хохот.

– Карош. Ишь ведь, дьявол, по-нашему умеет! – весело говорит Ковшиков и с самым приятельским видом треплет француза по спине. – В Кронштадт парле русс учил?

– Cronstadt...

– Ловко! Ай да Галярка! – внезапно переделал Ковшиков французскую фамилию Gollard на русский лад. – А вот посмотри, как я сейчас чарку дерну...

В эту минуту баталер кричит:

– Андрей Ковшиков!

– Яу! – отвечает Ковшиков сипловатым голосом.

И, снявши фуражку, подходит к ендове. Лицо его в это мгновение принимает серьезно-напряженное и несколько торжественное выражение. Слегка дрожащей от волнения рукой зачерпывает он полную чарку и осторожно, словно бы драгоценность, чтобы не пролить ни одной капли, подносит ее ко рту, быстро и жадно пьет и отходит.

– Видел, брат Галярка, как пьют у нас? Я и анкор и еще анкор – сделай одолжение, поднеси только! – смеется он. – Ну, машер, обедать!

И, подхватив француза, он ведет его вниз.

Там уже разостланы на палубе брезенты, и матросы артелями, человек по десяти, перекрестившись, усаживаются вокруг деревянных баков, в которые только что налиты горячие жирные щи.

– Садись, Галярка... Кушай на здоровье!.. Вот тебе ложка.

⁶⁴ Абсент.

В этой же артели сидит и Бастрюков, а около него юнга-француз, мальчик лет пятнадцати, бледный, с тонкими выразительными чертами лица, еще не вполне оправившийся после пережитых ужасных дней. Бастрюков с первого же дня взял этого мальчика под свое покровительство и ухаживал за ним, когда тот первые дни лежал в койке. Подойдет к нему, погладит своей шершавой, мозолистой рукой белокурую голову, стоит у койки и ласково глядит на мальчика, улыбаясь своей хорошей улыбкой. И мальчик невольно улыбается. Так постоит и уйдет. А то принесет ему либо чаю, либо кусок булки, за которой ходил к вестовым.

– Вы, ребята, дайте господской булки. Сиротке снести.

– Какому сиротке?

– Да мальчонку французскому.

Раз Ашанин увидел Бастрюкова, выпрашивающего у вестовых булки и, узнав, в чем дело, приказал давать Бастрюкову каждый день по булке.

– Спасибо, барин! – весело благодарил старый матрос. – Сиротка рад будет.

– Почему ты думаешь, что он сиротка?

– Беспременно сиротка, – уверенно отвечал матрос. – Нешто отец с матерью пустили бы такого мальчонка, да еще такого щупленького, на такую жизнь.

И Бастрюков был несколько разочарован, когда Володя, расспросив юнгу, узнал, что отец-рыбак и мать у него живы и живут в деревне, близ Лориана, у берега моря.

– Все равно, вроде быдто сиротки, коли родители его такие, не могли побережь сына, – заметил Бастрюков, выслушав Ашанина.

Когда юнга, его звали Жаком, поправился, Бастрюков однажды принес ему свою собственную тельную рубашку, купленную в Копенгагене, и шарф.

– Носи, брат Жака, на здоровье!

Вслед затем он снял с его ног мерку и стал ему шить сапоги: «Пригодится, мол, сиротке».

И теперь, сидя рядом с Жаком, Бастрюков то и дело указывал на бак со щами и говорил:

– Ешь, Жака, ешь, сирота.

И находя, что Жак ест не так, как бы следовало есть здоровому парнишке, Бастрюков обратился к Ковшикову:

– Ты ведь, милый человек, по-ихнему лопотать умеешь?

– Могу помалости...

– Так спроби Жаку, чего он лениво щи хлебает? Али не вкусны?

– А вот сейчас мы твоего Жаку допросим! – довольно храбро отвечал Ковшиков.

И, хлопнув по плечу Жака, спросил:

– Жака! щи бон?

Жак, разумеется, ничего не понимал.

– Вот энто самое – бон?

И рыжий матрос указал своим, не особенно чистым, корявым пальцем на щи.

Жак понял. Он закивал головой и, весело щуря глаза, ответил:

– La soupe aux choux est exquise! (Щи вкусные!)

– Карош! – подтвердил и другой француз.

– Хвалит щи Жака.

– Чего же он лениво ест? – спросил Бастрюков.

– Не в охотку. Говорит: солонину буду, – сделал свой вдохновенный вольный перевод, ни на минуту не задумываясь, Ковшиков.

Когда бак со щами был опростан, артельщик вынул из него большой жирный кусок солонины, разрезал его на мелкие куски и свалил крошево обратно. Все ели мясо молча и не спеша, видимо стараясь не опередить один другого, чтобы всем досталось поровну.

Бастрюков свои куски стал было предлагать Жаку, но тот махал головой.

– Ешь, Жака! Ковшиков, скажи ему, чтоб он ел и мою порцию! Я и щами сыт.

– Анкор, Жака!

И так как мальчик-француз не понимал, чего от него хотят, то Ковшиков прибегнул к наглядному объяснению. Взяв в одну руку кусок солонины и указывая другой на крошево Бастрякова, он сунул свой кусок в рот и повторял:

– Жака, валяй анкор. Вуле-ву... анкор!

Жак, казалось, сообразил. Он объяснил, что ему довольно, и благодарил.

– Мерси, говорит. Значит – благодарю. Ешь, Бастряков, сам мясо-то. Галярка, не зевай, брат!

Затем принесли пшеничную кашу и полили ее маслом. Она, видимо, понравилась французам, и Бастряков довольными и веселыми глазами посматривал, как «сиротка» уписывал ее за обе щеки.

После обеда, когда подмели палубу и раздался обычный свисток, и вслед за ним разнеслась команда боцмана «отдыхать!», – все стали располагаться на отдых тут же на палубе, и скоро по всему корвету раздался храп и русских и французских матросов.

Но Бастряков не отдыхал.

Примостившись у машинного люка и разложив около себя сапожные инструменты, он тачая сапоги, мурлыкая себе под нос какую-то песенку и бросая по временам ласковые взгляды на сладко спавшего рядом Жака.

Глава шестая. Прощай, Европа!

I

Через четыре дня «Коршун», попыхивая дымком из своей белой горластой трубы, приближался ранним утром к берегам Англии, имея на грот-брам-стеннге флаг, призывающий лоцмана для входа в устье Темзы и следования затем по реке до Гревзенда, небольшого городка в двухчасовом расстоянии от Лондона.

Несколько лоцманских ботов, далеко вышедших в море, чтобы встречать суда, нуждающиеся в лоцманах, крейсировали в разных направлениях, и как только на них заметили призывной флаг, они понеслись к «Коршуну».

Несмотря на довольно свежий ветер и порядочное волнение, эти маленькие одномачтовые, пузатые лоцманские боты необыкновенно легко перепрыгивали с волны на волну и, накренившись, почти чертя бортами воду, под всеми своими парусами и не взявши рифов, взпуски летели, словно белокрылые чайки.

Все на корвете невольно любовались и этими крепкими, не боящимися свежей погоды, маленькими ботами и лихим управлением ими. Видно было, что на них прирожденные моряки, для которых море – привычная стихия.

Сперва все четыре бота неслись почти рядом. Но вот один из них выделился вперед и подлетел к корвету. В одно мгновение лоцман схватился рукой за трап и уже поднимался на корвет, а бот, круто повернувшись, уже мчался назад, ныряя в волнах.

На палубе появился крепкий и здоровый англичанин, с красным лицом, опушенным рыжими баками, с бритыми губами, в непромокаемом плаще, в высоких сапогах и с зюйд-весткой на голове. Не спеша поднялся он на мостик и, слегка поклонившись, стал у компаса в позе настоящего «морского волка».

С самым невозмутимым видом стоял он, имея в зубах маленькую глиняную трубочку, всматривался в плоские, низкие очертания берегов и по временам отрывисто и лаконично, точно лаясь, говорил вахтенному офицеру, каким курсом надо держать.

Чем дальше поднимался корвет по реке, тем оживленнее была картина реки и ее берегов. То и дело мелькали красивые города в зелени, поселки и фермы. А на реке, мутной, почти грязной, чувствовалась близость мирового торгового города. Суда всевозможных конструкций и величин, начиная с громадных океанских пароходов и больших индийских парусных хлопчатобумажников⁶⁵ и кончая маленькими клиперами и шхунами, поднимались и спускались по реке – под парами, под парусами и, наконец, буксируемые маленькими парходиками.

Приближаясь к Лондону, «Коршун» все больше и больше встречал судов, и река становилась шумнее и оживленнее. Клубы дыма с заводов, с фабрик, с пароходов поднимались кверху, застилая небо. Когда корвет, подвигаясь самым тихим ходом среди чащи судов, бросил якорь против небольшого, утопавшего в зелени городка Гревзенда, солнце казалось каким-то медным, тусклым пятном.

А корабли все шли да шли, направляясь к Лондону, и казалось, конца им не будет. Впереди виднелся лес мачт.

Володя в первые минуты был ошеломлен. Эта масса судов всевозможных стран, эти спущенные парходики и шлюпки, эта кипучая деятельность казались чем-то сказочным для русского юноши... И это только, так сказать, у порога Лондона. Что же там, в самом Лондоне?

⁶⁵ Так называются корабли, перевозящие хлопок.

В тот же вечер решено было ранним утром отправиться в Лондон. «Коршун» должен был простоять в Гревзенде десять дней – необходимо было сделать кое-какие запасные части машины – и потому желающим офицерам и гардемаринам разрешено было, разделившись на две смены, отправиться в Лондон. Каждой смене можно было пробыть пять дней.

По жребию Ашанину досталось ехать в первой очереди.

Рано утром веселая и оживленная компания моряков с «Коршуна», одетых в штатское платье, была в Гревзенде. В Лондон решено было ехать по железной дороге, а оттуда на пароходе, чтобы увидеть реку у самого Лондона. Торопливо взяли билеты... Примчался поезд... Остановка одна минута... и наши моряки, бросившись в вагон, помчались в Лондон со скоростью восьмидесяти верст в час.

Радостно-взволнованный ехал Ашанин. И эти невозмутимые физиономии молчаливых англичан, едущих в свои конторы с свежими газетами в руках, и мелькающие коттеджи, и эта быстрота езды, и минутные остановки на станциях, где мальчишки, газетные разносчики, выкрикивали названия газет, пробегая мимо окон вагонов, – все обращало на себя его внимание.

Лондон положительно ошеломил его своей, несколько мрачной, подавляющей грандиозностью и движением на улицах толпы куда-то спешивших людей, деловитых, серьезных и с виду таких же неприветливых, как и эти прокоптелые серые здания и как самая погода: серая, пронизывающая, туманная, заставляющая зажигать газ на улицах и в витринах магазинов чуть ли не с утра. Во все время пребывания в Лондоне Володя ни разу не видел солнца, а если и видел, то оно казалось желтым пятном сквозь густую сетку дыма и тумана.

Этот громадный муравейник людей, производящих колоссальную работу, делал впечатление чего-то сильного, могучего и в то же время страшного. Чувствовалось, что здесь, в этой кипучей деятельности, страшно напрягаются силы в борьбе за существование, и горе слабому – колесо жизни раздавит его, и, казалось, никому не будет до этого дела. Торжествуй, крепкий и сильный, и погибай, слабый и несчастный...

Фланируя по улицам, Ашанин невольно с ужасом думал о возможности очутиться в этом великано-городе без средств. Такие мысли приходили только в Лондоне и нигде более. Чужеземец в лондонской толпе чужих людей ощущал именно какое-то жуткое чувство одиночества и сиротливости.

Восхищаясь разными проявлениями могущества знания, техники и цивилизации, молодой человек вместе с тем поражался вопиющими контрастами кричащей роскоши какой-нибудь большой улицы рядом с поражающей нищетой соседнего узкого глухого переулочка, где одичавшие от голода женщины с бледными полуголыми детьми останавливают прохожих, прося милостыню в то время, когда не смотрит полисмен. Ашанин из книг знал, что более ста тысяч человек в Лондоне не имеют крова, и знал также, что английский рабочий живет и ест так, как в других государствах не живут и не едят даже чиновники.

В первый же день Ашанин с партией своих спутников, решивших осматривать Лондон вместе, небольшой группой, состоящей из четырех человек (доктор, жизнерадостный мичман Лопатин, гардемарин Иволгин и Володя), побродил по улицам, был в соборе св. Павла, в Тоуэре, проехал под Темзой по железной дороге по сырому туннелю, был в громадном здании банка, где толпилась масса посетителей и где царил тем не менее образцовый порядок, и после сытного обеда в ресторане закончил свой обильный впечатлениями день в Ковентгарденском театре, слушая оперу и поглядывая на преобладающий красный цвет дамских туалетов. В театре с нашими моряками случилось маленькое недоразумение: им не дали, как они хотели, первых мест, так как они были не во фраках.

Возвратившись в гостиницу, в которой остановились все моряки с «Коршуна», заняв рядом несколько комнат, Ашанин принялся было за письмо к своим, но дальше второго

листика не дошел и, усталый, бросился в мягкую постель с безукоризненным бельем и заснул как убитый.

В остальные четыре дня та же маленькая партия коряков, любознательность в вкусы которых оказались довольно подходящими, руководимая доктором Федором Васильевичем, бывавшим прежде в Лондоне, и пользовавшаяся услугами Ашанина как человека, довольно хорошо объясняющегося по-английски, побывала в Британском музее, в библиотеке и просидела два вечерних часа в парламенте, куда попала благодаря счастливой случайности.

Как парламент с его обстановкой и речами тогда еще молодых Гладстона и Дизраэли, так и митинг в одном из парков произвели на туристов впечатление. Особенно этот митинг в парке, где под открытым небом собралось до двухсот тысяч народа, которому какой-то оратор, взобравшийся на эстраду, говорил целый час громоносную речь против лордов и настоящего министерства. Толпа разражалась рукоплесканиями, выражала одобрение восклицаниями... и мирно разошлась.

Поразили и знаменитые лондонские «доки», осмотру которых туристы наши посвятили полдня. Тут можно было видеть, так сказать, пульс всей торговой деятельности Лондона и представить себе до известной степени колоссальность этого обмена товаров со всеми странами мира. Тысячи судов выгружались у гранитных пристаней при помощи элеваторов, кранов и разных приспособлений. Массы рабочих были заняты работой, и вся эта работа шла как-то скоро, умело, без шума, без криков, без брани, столь знакомой русскому уху у себя на родине. Каких только кораблей тут не было и каких только рас и цветов не было матросов. Рядом с белыми моряками всевозможных национальностей можно было встретить и индуса, и сингаплезца, и малайца, и негра. И вся эта смесь «племен, наречий, состояний» толпилась на кораблях и на пристанях.

Громадные тюки и бочки под оглушительный шум и лязг цепей и лебедок подавались на берег и укладывались правильными рядами. Чего тут только не было? Пшеница, льняное семя, пенька, сало, шерсть, хлопчатая бумага, индиго, перец, кофе, чай и фрукты, среди которых ананасы, бананы и мандарины ласкали обоняние своим ароматом. И все это лежало в каком-то гигантском количестве.

Незаметно наполнялись тюками и бочками пристани, и так же незаметно исчезали задние ряды, увозимые на то и дело подходивших вагонов.

У других пристаней происходила нагрузка. Преимущественно грузились большие трехмачтовые корабли и пароходы грузом разных товаров и мануфактур, которыми англичане снабжают Индию, Китай и вообще Дальний Восток.

Обедали в этот день наши моряки в очень скромной таверне, чтобы иметь понятие о том, как кормят в Лондоне недостаточных людей.

В таверне, куда вошли русские, сидели преимущественно рабочие за большим столом, накрытым довольно чистой скатертью. К столу у каждого прибора были прикреплены на цепочках ложка, вилка и ножик. Посредине стола положены были маленькие рельсы, по которым двигалось огромное блюдо ростбифа, составляющее все меню этого обеда, стоящего шиллинг. Ростбиф и к нему обычный разварной картофель и зелень были безукоризненны и так же хороши, как и в первом классе ресторана. Есть его можно было сколько угодно. Прислуживали одна горничная и сам хозяин, то и дело нарезывавший куски гигантского ростбифа, который все обедающие запивали кружками эля.

Как только из-за стола уходил кто-нибудь из обедающих, горничная немедленно снимала с цепочки ложку, ножик и вилку, уносила их и приносила назад чисто вымытыми и вычищенными.

– А ведь недурно, господа, не правда ли? Вы не раскаиваетесь, что я вас сюда привел? – сказал доктор.

Никто, конечно, не раскаивался. Все были сыты и благодарили доктора за то, что он дал им возможность пообедать в таверне для рабочих. Ведь очень немногие русские путешественники заглядывают в такие места.

На следующее утро первая смена моряков с «Коршуна» возвратилась в Гревзенд на пароходе, пробираясь буквально сквозь чащи кораблей у самого Лондона. Володя возвращался положительно ошеломленный от всего виденного и торопился поскорее поделиться впечатлениями со своими в Петербурге. Ах, как жалел он, что ни мать, ни сестра, ни брат не видали всех тех чудес, какие видел он! Ашанин об этом не раз вспоминал в Лондоне. Разумеется, он вез теперь с собой несколько подарков для своих и в том числе свои фотографические карточки в штатском платье. Не забыл он и своего вестового Ворсуньки, и когда тот, радостно встретив Володю, осведомился, как барин съездил, Володя поднес ему большой шелковый платок.

– Это для твоей жены, – проговорил он.

Нечего и говорить, что Ворсунька был в восторге.

Целых два дня все время, свободное от вахт, наш молодой моряк писал письмо-монстр домой. В этом письме он описывал и бурю в Немецком море, и спасение погибавших, и лондонские свои впечатления, и горячо благодарил дядю-адмирала за то, что дядя дал ему возможность посетить этот город.

И подарки и карточки (несколько штук их назначалось товарищам в морском корпусе) были отправлены вместе с громадным письмом в Петербург, а за два дня до ухода из Гревзенда и Володя получил толстый конверт с знакомым почерком родной материнской руки и, полный радости и умиления, перечитывал эти строки длинного письма, которое перенесло его в маленькую квартиру на Офицерской и заставило на время жить жизнью своих близких. Он был счастлив, что все там благополучно, что все здоровы – и няня не жалуется на ломоту в руках, и дядя не ворчит на ревматизм; он жалел, что не может повидать всех своих, но если бы ему предложили теперь вернуться в Петербург и остаться там, он ни за что не принял бы такого предложения.

Впечатлительного и отзывчивого юношу слишком уже захватили и заманчивая прелесть морской жизни с ее опасностями, закаляющими нервы, с ее борьбой со стихией, облагораживающей человека, и жажда путешествий, расширяющих кругозор и заставляющих чуткий ум задумываться и сравнивать. Слишком возбуждена была его любознательность уже и тем, что он видел, а сколько предстоит еще видеть новых стран, новых людей, новую природу!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.